

Тайна замка Роксфорд-Холл

Автор:

[Джон Харвуд](#)

Тайна замка Роксфорд-Холл

Джон Харвуд

Констанс Лэнгтон получает в наследство старинную английскую усадьбу Роксфорд-Холл, имеющую зловещую репутацию. Двадцать пять лет назад в этом доме при загадочных обстоятельствах исчезла целая семья. Здесь Констанс находит дневник, в котором, возможно, скрывается разгадка этой тайны. По мере чтения Констанс обнаруживает неожиданную связь между пропавшими без вести людьми и собственной судьбой. Она узнает о своей семье удивительные факты и намерена разобраться во всем до конца, несмотря на грозящую ей смертельную опасность...

Ранее роман издавался по названию «Сеанс».

Джон Харвуд

Тайна замка Роксфорд-Холл

THE SEANCE

by John Harwood

Copyright © 2008 by John Harwood

All rights reserved

© И. Бессмертная, перевод, 2009

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013

Издательство АЗБУКА®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru) (<http://www.litres.ru/>)

Посвящается Робину

Чтобы явить дух, возьмите двадцать ярдов тонкой шелковой кисеи не менее двух ярдов шириной и сильно просвечивающей. Хорошенько выстирайте и прополощите в семи водах. Подготовьте раствор, для которого нужны:

одна банка бальмейновой светящейся краски,

полпинты демарова лака,

пинта петролейного эфира без запаха

и пятьдесят капель лавандового масла.

Тщательно втирайте раствор в ткань, пока она еще влажная, а потом оставьте ее сохнуть в течение трех дней. Затем стирайте ткань лигроиновым мылом до тех пор, пока совершенно не уничтожите запах и пока ткань не станет совсем

мягкой и податливой. В затемненной комнате ткань будет смотреться как мягко светящийся туман.

Откровения спирита-медиума (1881)

Часть первая

Рассказ Констанс Лэнгтон

Январь 1889 г.

Если бы моя сестра Элма была жива, я никогда не начала бы эти сеансы. Она умерла от скарлатины вскоре после того, как ей исполнилось два года, а мне тогда было пять лет. Я помню только отдельные сцены из того времени, что она была жива: маменька подбрасывает Элму на колене и поет так, как она уже никогда не станет петь потом; я читаю маменьке вслух из моего букваря, а она ногой покачивает колыбельку Элмы; я иду с Энни мимо Приюта для найденышей, она толкает перед собой детскую коляску, а я держусь за коляскин бортик. Помню, как однажды, вернувшись после такой прогулки, я получила позволение покормить Элму, сидя у камина; помню, как ощущала тепло его пламени у себя на щеке, когда держала сестренку на руках. Еще помню – впрочем, возможно, что мне только рассказывали об этом, – как лежала, дрожа, в постели, глядя вверх, на окно, которое казалось поразительно маленьким и далеким, и прислушивалась к звуку рыданий, глухо доносившихся ко мне, словно сквозь толстый слой ваты.

Не знаю, как долго длилась моя болезнь, но мне кажется – так это осталось в памяти, – будто я проснулась и обнаружила, что наш дом окутан тьмой, а моя маменька изменилась до неузнаваемости. Много месяцев она не выходила из своей комнаты, куда мне дозволялись лишь краткие визиты. Занавеси были всегда задернуты; часто казалось, что маменька едва замечает мое присутствие. А когда наконец она стала садиться в кресло, а потом и выходить из своей комнаты – ссутулившаяся, как старуха, с длинными, поредевшими волосами, – она всегда была погружена в свое беспросветное горе. Порой она посылала за

мной, а потом как будто не понимала, почему я вдруг явилась, как будто на ее зов пришел кто-то совсем другой. Что бы ни отважилась я сказать ей, она принимала с одинаковым безжизненным равнодушием, а если я сидела молча, я начинала ощущать, как тяжесть ее горя давит на меня с такой силой, что становилось страшно: вдруг я сейчас задохнусь?

Мне очень хотелось бы сказать, что мой отец тоже горевал, но, если он и страдал от горя, я не видела ни малейшего доказательства тому. Его обращение с маменькой всегда было вежливым и участливым, почти таким же, как у доктора Уорбёртона, который заходил к нам время от времени и уходил, качая головой. Папенька никогда ничем не болел, никогда не сердился, никогда не бывал расстроен и никогда не мог бы повысить голос, как не мог бы выйти на люди, не нафабрик кончики своих усов. Иногда по утрам, после того как Энни приносила мне хлеб и молоко, я тихонько спускалась по лестнице и смотрела на папеньку с маменькой сквозь щелку в дверях столовой.

– Я надеюсь, вы сегодня немного лучше себя чувствуете, моя дорогая? – обычно спрашивал папенька.

А маменька устало поднимала голову и отвечала, что, мол, да, ей кажется, что сегодня она лучше себя чувствует, и тогда он раскрывал «Таймс» и читал, пока не наступала пора ему отправляться в Британский музей, где он каждый день работал над своей книгой. Вечерами он чаще всего обедал не дома; по воскресеньям, когда Британский музей закрыт, он работал у себя в кабинете. Он не ходил в церковь, потому что был занят своей работой (во всяком случае мне так это объясняли), а маменька не ходила, потому что была нездорова. Так что каждое воскресенье мы с Энни отправлялись в церковь одни.

Энни объяснила мне, что маменька горюет, потому что Бог забрал Элму на Небо, что – как я думала – было с Его стороны очень жестоко; но с другой стороны, если Элма там счастлива и больше никогда не будет болеть и если мы все когда-нибудь снова будем вместе, то отчего же маменька так ужасно печалится?

– Оттого, – объясняла Энни, – что она очень любила Элму и ей тяжело жить с нею врозь; но, когда время траура пройдет, маменька снова соберется с духом, и все будет хорошо.

А пока все, что мы могли сделать, – это сопровождать маменьку, когда она стала выходить из дому, к единственному месту, которое она когда-либо посещала (а место это было кладбище рядом с Приютом для найденышей), и красиво укладывать свежие цветы на могилке Элмы. Мне очень хотелось узнать, почему Бог оставил тельце Элмы здесь, а взял только ее душу и присматривает ли Он за духом маменьки, пока она с этим духом еще не собралась, но Энни не согласилась отвечать на такие вопросы, сказав, что я все сама пойму, когда повзрослею.

У Энни были темно-каштановые волосы, туго затянутые назад, карие глаза и очень мягкая манера говорить: я находила, что она очень красивая, хотя сама она утверждала, что вовсе нет. Энни выросла в деревне, где-то в графстве Сомерсет, ее отец работал там каменщиком; у нее было четверо братьев и три сестры, еще пятеро детей умерли совсем маленькими. Когда она впервые рассказала мне об этом, я предположила, что ее мать должна быть еще больше поражена горем, чем моя. Но Энни сказала – нет, для траура у них не было времени, ее матушка была слишком занята, заботясь об остальных детях. И конечно, нет, у них не было няни – они были для этого слишком бедны. Теперь, правда, все стало гораздо лучше: три ее брата ушли в солдаты, а две старшие сестры пошли в услужение, как и она; и все они (кроме одного из братьев, который попал в дурную компанию) посылают домой деньги для матушки.

Если погода стояла хорошая, мы с Энни после полудня отправлялись на прогулку. Дом наш был в Холборне, так что во время таких прогулок мы иногда останавливались у Приюта для найденышей посмотреть, как девочки-найденыши в белых фартуках и коричневых платьях из дешевой шерстяной ткани играют в приютском дворе. Приют казался величественным, словно дворец, с ведущей к нему аллеей, уставленной фонарями, с окнами, которых столько, что и не сосчитать, да еще со статуей ангела перед входом. Энни рассказала мне (со слов подруги, тоже теперь бывшей в услужении, которая выросла в таком же приюте), что найденышей приносят в Приют их матери, слишком бедные или слишком больные, чтобы воспитывать детей самостоятельно. И конечно, да, таким матерям очень грустно расставаться со своими детьми, но ведь в Приюте найденышам живется гораздо лучше. (Таких детей чаще называют подкидышами, объяснила Энни, но все же лучше называть их найденышами.) Младенцев раздают по хорошим семьям в сельской местности, и они остаются там до пяти или шести лет, а потом их привозят назад в Приют, учиться в школе. Им три раза в неделю дают на обед мясо, а по

воскресеньям даже ростбиф. А когда они вырастают, мальчиков отправляют в солдаты, а девочки идут работать горничными к богатым дамам.

Мне хотелось узнать все про тех матерей, которые отдают своих новорожденных детей в Приют для найденышей; вот ведь мама Энни была очень бедная, но оставила всех своих детей дома. Казалось, Энни вовсе не хочется отвечать на этот вопрос, но в конце концов она объяснила мне, что большинство подкидышей попали сюда потому, что их отцы сбежали, оставив их матерей в одиночестве.

- Так что, если папенька вдруг от нас сбежит, - спросила я, - меня отправят в найденыши?

- Конечно нет, деточка моя, - отвечала мне Энни. - Твой папенька не собирается от вас убежать, а у тебя есть я, чтобы о тебе заботиться. Да кроме того, ты слишком большая для подкидыша.

Попозже в тот же день, когда мы с Энни стояли под самым ангелом, глядя, как на своей части двора играют мальчики-найденныши, она рассказала мне историю своей подруги Сэры, которую мать отдала в Приют, потому что ее отец сбежал еще до того, как Сэра родилась. Сэра сохранила фамилию матери - Бейкер, но совсем ничего о ней не помнила, а вот свою кормилицу миссис Гарретт в Уилтшире она очень полюбила и очень плакала, когда пришло время ей возвращаться в Приют - учиться. Мистер и миссис Гарретт очень хотели бы, чтобы Сэра у них осталась, потому что все их родные дети умерли, но они были слишком бедные, а Приют не стал бы им платить, раз Сэра уже выросла и должна учиться. Да, конечно, кормилицы в сельской местности иногда получают разрешение оставлять приемышей у себя навсегда, но только если могут доказать Приюту, что у них хватит денег, чтобы должным образом заботиться об этих детях; точно так же и их родные матери, которым пришлось отдать туда своих детей, могут взять их к себе обратно, если положение их улучшилось и они могут это доказать.

Думаю, мне было лет шесть или семь, когда мне впервые пришло в голову, что я, возможно, тоже была найденышем. Это объяснило бы, почему мы живем так близко от Приюта и, кроме того, до рождения Элмы мы жили в сельской местности, хотя у меня о том времени сохранились лишь самые смутные

воспоминания, а Энни никак не могла помочь, потому что пришла к нам, когда мы уже переехали в Лондон. Конечно, я могла быть каким-то совсем другим найденышем: Энни говорила мне, что есть и другие приюты (и при этом как-то странно посмотрела на меня, когда я спросила ее, не можем ли мы их посетить). А еще я слышала про младенцев, которых оставляют на крыльце у дверей в корзинках, – я могла быть одной из них. Возможно, у маменьки были другие дети, которые умерли, и о них никто никогда не говорит; или же она была бесплодна, как Сарра, жена Авраама, и взяла меня в дом как найденыша, а после решила оставить у себя навсегда. И вот потом Господь дал ей Элму... Хотя тогда вдвойне трудно понять, почему, если Он такой добрый и любящий Бог, как об этом говорит в своих проповедях мистер Холстед, Он снова так скоро забрал Элму к себе. Неужели Он хотел испытать маменькину веру, как хотел испытать веру Иова? «Господь дает, Господь и отнимает, – сказал Иов. – Да будет благословенно имя Господа!»

Я этого не понимала, но тем не менее подозрение пустило корни и принялось расти. Это объясняло, почему маменька гораздо больше любила Элму, чем меня, почему я никогда не была для нее утешением и даже почему – как я порой подозревала с глубоким чувством вины – я сама любила маменьку не так сильно, как должна бы. Хотя я постоянно молилась о том, чтобы она снова была счастлива, я боялась оставаться с ней наедине в затемненной гостиной, где она теперь проводила свои дни. Обычно я сидела рядом с ней на диване, теребя свое вышивание или притворяясь, что читаю, и чувствовала, как свинцовая тяжесть медленно охватывает и все больше сдавливает мне грудь; и я беспрестанно твердила про себя: «Я найденыш, она мне вовсе не мать, я найденыш, она мне вовсе не мать» – до тех пор, пока мне не позволялось уйти; а после горько упрекала себя за недостаток сочувствия. И в самом деле, все, что я чувствовала к матери, было полно ощущением вины: я даже винила себя за то, что вообще осталась жива, так как понимала, что она скорее предпочла бы, чтобы умерла я, а в живых осталась Элма. Но во всяком случае, она же не отдала меня обратно в Приют! И раз уж она и папенька решили не говорить мне о том, что я найденыш, я понимала, что спрашивать их об этом будет нехорошо.

Я пробовала самыми разными путями подобраться с этим вопросом к Энни, но она как-то всегда ухитрялась не понять намека, и чем чаще я пыталась направить наши разговоры так, чтобы они касались найденышей, тем чаще, как мне казалось, она уходила от этой темы, пока наконец, ничего не говоря, мы перестали во время прогулок проходить мимо Приюта, и всегда Энни обещала пойти туда «в другой раз» или «на следующей неделе». Как-то я спросила ее, не думает ли она, что я виновата в смерти Элмы. Она отрицала это так яростно, что

я испугалась: она очень сердито спросила меня: кто это вбил такую мысль мне в голову? А что, если ни папенька, ни маменька не говорили ей правды обо мне? Она ведь может посчитать меня злой и жестокой, раз придумываю про себя такие вещи; да и кроме того, я никогда не была уверена в том, насколько сама верю в это.

До тех пор пока у меня была Энни, я знала, что у меня есть чего ждать от каждого дня. У нее были подруги – нянюшки, приводившие своих подопечных играть на площади, и я участвовала в их играх, бегала и смеялась и забывала, что я найденыш. Но их разговоры о братишках и сестренках, дядюшках и тетюшках, кузенах и кузинах, о бабушках и дедушках напоминали мне о том, что я никогда не видела никаких своих родственников. Когда я подросла, я узнала, что у папеньки есть вдовья сестра, она живет в Кембридже и не приезжает к нам, потому что маменька не очень хорошо себя чувствует. И что у маменьки есть младший брат, которого зовут Фредерик, но она его не видела уже много лет. Бабушек и дедушек у меня не было, потому что мои родители поженились уже довольно старыми: маменькин отец долго болел, и ей пришлось ухаживать за ним, не выходя из дому, почти до сорока лет.

Мне никогда не приходило в голову, что мы с Энни не всегда будем жить так, как жили тогда. Но когда мне исполнилось восемь лет, она привела меня в свою комнату, усадила к себе на кровать, обвила меня руками и сказала, что скоро я стану ходить в дневную школу мисс Хейл, которая всего в нескольких шагах от нашего дома. Энни очень старалась, чтобы ее слова прозвучали радостно, словно речь шла о празднике, но я уловила в ее тоне печаль. И тогда она призналась, что уходит от нас: папенька решил, что я уже слишком большая для няни и что Вайолет, наша горничная, будет отныне сама за мной присматривать. Мне не нравилась Вайолет, она была толстая, и пахло от нее, как от белья, которое долго пролежало в корзине. Напрасно умоляла я папеньку, чтобы он разрешил Энни остаться. «Мы не можем позволить себе держать Энни, – говорил он, – притом что приходится думать о плате за школу мисс Хейл». Я же говорила ему, что вовсе не хочу ходить в школу, что могу все, что мне нужно, узнать из книг, и тогда Энни не надо будет от нас уходить; но и это его не устраивало. Если я останусь дома, мне будет нужна гувернантка, а это обойдется еще дороже, и – нет! – Энни не может быть моей гувернанткой, потому что она ничего не знает ни о французском, ни об истории, ни о географии и ни о чем другом, что я узнаю в школе.

Несмотря на то что я отправилась к мисс Хейл полная решимости ненавидеть все, что связано с этой школой, я оказалась совершенно не готова к невыносимой скуке классной комнаты. За моим чтением дома никто никогда не следил, так как Энни не имела никакого представления о книгах и едва могла справиться с букварем. Папенька всегда запирает свой кабинет, но дверь библиотеки – совсем рядом с кабинетом – всегда бывала открыта. Библиотекой служила комнатка чуть больше спальни, но для меня она была поистине сокровищницей, в которую меня молчаливо допускали при условии, что к папенькиному возвращению каждый том окажется точно на своем месте. Так что я привыкла читать книги, которые часто с трудом понимала, разгадывая звучание и значение незнакомых мне слов с помощью словаря доктора Джонсона[1 - Доктор Джонсон – Сэмюел Джонсон (1709–1784), английский поэт, писатель, лексикограф, создатель Толкового словаря английского языка (1755). – Здесь и далее примеч. перев.]. А в школе все надо было заучивать наизусть, кроме бесконечных задач по арифметике, которые представлялись мне столь же бессмысленными, сколь и неразрешимыми. И снова, разговаривая с девочками из моего класса, я остро ощущала, что у меня нет ни братьев, ни сестер, ни других родственников; мне не о чем было с ними разговаривать, кроме книг, которые я читала, и я очень скоро обнаружила, что преждевременное знакомство с произведениями Байрона и Шелли вовсе не то, чем стоит так уж хвастаться.

Однако, несмотря на скуку, Школа мисс Хейл стала для меня чем-то вроде убежища от той тьмы, в которую все больше погружалась моя мать. Теперь, вместо того чтобы пить чай с Энни в детской, я должна была пить чай с мамочкой в столовой и силиться поддерживать беседу, главным образом пересказывая то, что узнала в этот день в школе. А потом мы обычно сидели в гостиной, мамочка машинально что-то подшивала или просто бездумно смотрела на огонь в камине, а я тоже теребила какое-нибудь свое шитье, прислушиваясь к тяжеловесному тиканью каминных часов и отсчитывая каждые четверть часа до того времени, пока можно будет улечься в постель в своей комнатке на чердаке и читать до тех пор, пока не почувствую, что могу загасить свечу и заснуть.

На второй год в Школе мисс Хейл я получила приз за декламацию – книгу «Мифы Древней Греции» с замечательными картинками. Мифы, которые мне понравились более всего, были историями о Тесее и Ариадне, Орфее и Эвридике и особенно – о Персефоне в подземном царстве. Все, что касалось подземного

царства, совершенно меня зачаровывало. Я тогда представляла себе, что оно находится прямо под полом кухни и что я отыскала бы ступени, туда ведущие, если бы у меня достало сил поднять одну из каменных плит пола. У меня была морская раковина, в которой я могла слышать шум моря, – этот шум всегда меня успокаивал; я читала эту свою книгу, вглядывалась в картинки и слушала шум моря, придумывая свою собственную историю Персефоны в Аиде. Шесть гранатовых зернышек казались мне не таким уж страшным прегрешением; позже я узнала от папеньки, что на самом деле это была история о смене времен года, что зернышки ждали под землей прихода весны, – один умный человек из Кембриджа так все это объяснил; но это объяснение показалось мне скучным, успевшим набить оскомину и лишившим эту историю всякого интереса. Перевозчик Шарон, и Цербер с его тремя головами, и царь Аид с его волшебным шлемом, в котором он мог бывать в верхнем мире, оставаясь невидимым, – все это куда-то исчезало после такого объяснения. Я спросила у папеньки, так же ли тот умный человек думает об истории Эвридики, но умный человек, как видно, еще не решил, как надо об этом думать.

Странным образом души умерших никак не присутствовали в этом моем подземном царстве. Оно было загадочным местом туннелей и тайн, темным и мрачным и тем не менее почему-то пленительным, где я могла бы совершенно свободно странствовать, если бы только нашла туда вход. Однажды мне приснилась пещера, где я обнаружила искусной резьбы сундук, полный золота, серебра и драгоценных камней, из которого, как только его откроешь, лился яркий свет, и этот сундук стал частью моего воображаемого подземного царства вместе с его противоположностью – простым деревянным ящиком, который поначалу казался пустым, но, пока вы в него глядели, в нем, словно холодный черный туман, начинала подниматься тьма, и она переливалась через края ящика, проливаясь на каменистый пол пещеры. В этом царстве были Асфодельные поля^[2] – Асфодель – нарцисс. Название рода растений из семейства асфоделиевых. В древнегреческой мифологии Асфодельные луга располагались в Аиде: по ним блуждали тени умерших; асфодель был символом забвения.]: это звучало красиво и печально, они, словно ковром, были покрыты прекрасными цветами глубокого пурпурного цвета, а когда вам надоедали туннели, вы могли подняться к елисейским полям, где всегда сияет солнце и не перестает звучать музыка.

Однако дома моя умершая сестричка всегда была с нами. Маменька превратила в святилище комнату Элмы – небольшое помещение, дверь в которое

открывалась из комнаты маменьки; все здесь сохранялось так, будто Элма может вновь появиться здесь в любую минуту: простынка отвернута, любимая тряпичная кукла Элмы – у подушки, ночная сорочка лежит наготове, на комоду у зеркала – букетик цветов в вазочке. Дверь в комнату всегда открыта, но никому не разрешается туда входить; маменька сама вытирает там пыль и натирает воском мебель и пол. Это очень устраивает Вайолет, потому что она ужасно ленива и терпеть не может подниматься по лестницам.

Вайолет спала в чердачной комнате напротив моей, и я порой слышала, как она отдувается и ворчит, поднимаясь к себе по вечерам. Теперь мне кажется странным, что она оставалась у нас так долго, ведь в нашем доме так много лестниц, что трудно было попасть куда-нибудь, не взбираясь хотя бы на два пролета. Кроме Вайолет, у нас была только миссис Гривз, кухарка, которая жила исключительно в подвале. Миссис Гривз была вдова, седоволосая, полная и краснолицая, как Вайолет, но, если Вайолет вся колыхалась, как бланманже, увязанное в тряпицу, миссис Гривз была круглая и твердая, словно кубышка. Хотя на кухне было только одно закопченное окно, выходившее в прямок ниже уровня улицы, кухня была самым светлым и теплым местом в нашем доме, потому что миссис Гривз зажигала газовый светильник так ярко, как только он мог гореть, а зимой набивала плиту углем так, что можно было видеть, как бьется красное мерцание в щелках вокруг дверцы. Это миссис Гривз отдавала Вайолет распоряжения, которые та выполняла медленно и неохотно, но тем не менее выполняла. Прачечной в доме не было, стирать белье отсылали прачке.

Кроме комнатки Элмы, к хозяйственным делам дома маменька никакого интереса не проявляла, как, впрочем, и ни к чему другому, и я подозреваю, что папенька либо не знал, сколько должны стоить газ и уголь, либо его это не волновало, – лишь бы не нарушалось спокойствие его существования. Миссис Гривз спала в маленькой комнатке за кладовой, окно которой выходило в сырой и темный, с высоким забором двор. Столовая и гостиная располагались на первом этаже, а второй этаж был целиком в распоряжении папеньки, с библиотекой в передней части дома, с его кабинетом посередине и спальней за ними, а ванная была на площадке, с тем чтобы папеньке не нужно было никуда подниматься, во всяком случае я никогда не видела, чтобы такое с ним случалось. Комнаты маменьки и Элмы располагались этажом выше, рядом с комнатой, в которой раньше жила Энни, а над ними уже был чердак. Окно моей комнаты выходило на восток, и часто в зимние дни, по воскресеньям, я забиралась в постель, чтобы согреться, и, пытаясь затеряться в море черепичных крыш и дочерна потемневшего кирпича, простирающемся далеко, до огромного купола собора Св. Павла, думала о том, как живет людям там, за

этими бесконечными стенами.

Мне всегда нравилась миссис Гривз, но до тех пор, пока у меня была Энни, говорившая миссис Гривз о том, что мне нужно, я стеснялась произносить что-либо, кроме «да», «нет» или «спасибо». И довольно долго после того, как Энни нас покинула, я слишком по ней скучала, чтобы пытаться завязать дружбу с миссис Гривз. Но месяц тянулся за месяцем, и меня все больше стало тянуть к свету и теплу кухни, особенно по субботам, когда у Вайолет был выходной день. Сначала я просто сидела на табурете и наблюдала; мало-помалу я начала помогать миссис Гривз и вскоре стала довольно умело чистить картофель, месить обычное тесто и раскатывать сдобное для булочек. Иногда мне даже позволялось чистить серебро, что было огромным удовольствием. Все это в целом заставляло меня думать, что жизнь служанки гораздо предпочтительнее жизни дамы.

– Думаю, я хотела бы стать кухаркой, когда вырасту, – как-то зимним днем сказала я миссис Гривз.

Дождь лил весь день напролет, и сквозь тихое урчание плиты я слышала, как журчит вода в стоке под окошком.

– Ну, я вижу, с чего тебе такое могло на ум прийти, – ответила она. – Только ведь в большинстве мест все совсем не так, как тут. Знаешь, сколько бедняг-служанок дрожат с холоду в темноте, после того как они днем до кости себе кожу на руках работой сотрут, потому как хозяйки жалеют им свечи огарок да уголька немного, а про газ, как у нас тут, я уж и говорить не стану. А ты у нас будешь леди, со своим домом, и слуги у тебя свои будут, и муж, и детки, за которыми смотреть надо; уж тогда-то ты не захочешь картоху чистить, поверь ты мне!

– У меня никогда не будет детей! – заявила я пылко. – Потому что кто-то из них может умереть, и тогда я стану как маменька и никогда больше не буду счастлива.

Миссис Гривз печально глядела на меня: раньше я никогда не говорила столь открыто о тяжком недуге моей матери.

– В ирландских деревнях, мисс, люди про таких, как твоя матушка, говорят, что они «не в себе».

Я смотрела на нее, ожидая продолжения.

– Ну, это-то, конечно, только их воображение, так это понимать надо, однако они говорят, когда кто-то стаёт... вот таким, значит феи ее унесли и одну из своих на ее месте оставили.

– А феи когда-нибудь обратно их приносят?

– Да, деточка моя... Я ведь, ты знаешь, двух сыновей потеряла, думала, у меня сердце разорвется; я и сейчас об них тоскую, да только знаю, им там хорошо, наверху. А у меня ведь другие еще были, об них думать надо... – Она, смешавшись, замолкла.

– Откуда же вы можете знать, что им хорошо на Небе? – спросила я. – Потому что Библия нам про это говорит?

– Ну да, мисс, это конечно, а еще... они сами мне про это говорят.

– Но как же это они говорят вам? Что, их привидения с вами разговаривают?

– Нет, не привидения, мисс, а дух каждого мальчишка. Через миссис Чиверс – она ведь, как это люди называют, спирит-медиум. Ты знаешь, что это такое?

Я сказала ей, что не знаю, и она объяснила мне, поначалу довольно нерешительно, кое-что про спиритизм и рассказала, что состоит в Обществе, которое собирается два раза в неделю в комнате на Саутгемптон-Роу, а еще рассказала про сеансы и про то, что духи ушедших могут посещать нас, являясь с Небес (а некоторые люди называют Небеса Страной вечного лета), чтобы поговорить через медиума с теми, кого любили.

– Тогда я должна сказать маменьке про миссис Чиверс, – заявила я, – чтобы она могла поговорить с духом Элмы и снова стать счастливой.

– Нет, мисс, этого делать никак нельзя; во всяком случае нельзя говорить ей, что это я тебе рассказала, а то ведь я и место могу потерять. Как мы слышали, папаша твой спиритизма на дух не принимает. Да к миссис Чиверс дамы не ходят, только кухарки да служанки вроде меня и Вайолет.

– Тогда значит, дамам не разрешается быть спиритами?

– Не в том дело, мисс, просто у них свои собрания бывают, у тех, кто верит. Я слышала, есть Общество для дам и джентльменов на Лэмбз-Кондуит-стрит, только помни, не я про это тебе говорила.

Я собралась было рассказать об этом маменьке в тот же вечер, но порыв угас, как это всегда бывало, перед лицом ее ледяного безразличия; кроме того, я побоялась навлечь неприятности на миссис Гривз. Так что на следующее утро, за завтраком, я спросила у папеньки, что такое спиритизм, объяснив, что слышала, как кто-то упомянул об этом в школе. Теперь я считалась достаточно взрослой, чтобы завтракать в столовой при условии, что не буду разговаривать, когда папенька читает свой «Таймс»; маменька не завтракала с нами с тех пор, как доктор Уорбёртон прописал ей более сильное снотворное.

– Древний предрассудок в современном одеянии, – ответил он и с неодобрительно громким шуршанием развернул газету; я впервые увидела, что он близок к тому, чтобы позволить себе рассердиться.

К этому времени я уже начала подозревать, что папенька не верит в Бога. Он не стал возражать, когда я перестала посещать церковь после того, как нас покинула Энни, а потом, довольно скоро, я выяснила, что книга, которую он так долго пишет, называется «Рациональные основания морали». Целью книги, насколько я могла понять из отрывочных замечаний, которые он ронял время от времени, было доказать, что следует вести себя хорошо, даже если не веришь, что будешь вечно мучиться в геенне огненной, если станешь плохо себя вести; я часто задавалась вопросом, зачем нужно доказывать что-то настолько самоочевидное в целой книге, но никогда не осмеливалась спросить об этом вслух. А когда в следующий раз я снова попыталась расспросить миссис Гривз о спиритизме, она сменила тему так же, как делала Энни, когда я заговаривала о найденыхшах. Но мысль, что духи умерших существуют вокруг нас, отделенные лишь тончайшей вуалью, стала частью моей тайной мифологии вместе с богами

и богинями подземного царства.

Я оставалась в школе мисс Хейл почти до шестнадцати лет; я росла и выросла в полной заброшенности, в ожидании чего-то – сама не зная чего. Я была вольна читать что хочу, гулять где хочу, но в то же время чувствовала, что никто не огорчится, если я вдруг исчезну с лица земли. Моя свобода отделяла меня от других девочек в школе, и, поскольку я не могла приглашать их к себе домой, меня тоже приглашали очень редко. Настроение маменьки не улучшалось; если оно и менялось, то можно сказать, что с годами она становилась все безутешнее, все летаргичнее, с трудом перемещалась по дому, из которого вообще перестала выходить даже для того, чтобы навестить могилку Элмы. Казалось, ее медленно сокрушает непосильная тяжесть. И все же я не была несчастлива, кроме тех вечеров, когда считала себя обязанной сидеть с маменькой в гостиной; иногда я думала, испытывая тяжкое чувство вины, что, видимо, становлюсь жесткой и бесчувственной.

За несколько месяцев до того, как я ушла из школы мисс Хейл, Вайолет наконец-то предупредила, что уходит от нас, и – по рекомендации миссис Гривз – ее сменила Летти, быстрая умная девушка, чуть старше меня самой. Мать Летти умерла, когда девочке было двенадцать лет, и она с тех самых пор была в услужении. Хотя Летти говорила как жительница Лондона, от отца она унаследовала ирландскую и испанскую кровь: у нее была смуглая кожа и очень темные глаза, большие, с тяжелыми веками и длинными загнутыми ресницами. Ее длинные пальцы загубели и покрылись мозолями от многих лет мытья, чистки и уборки, хотя она каждый день оттирала их пемзой. Летти понравилась мне с первого взгляда, и я часто помогала ей вытирать пыль и полировать мебель, просто чтобы был предлог с ней поговорить. Днем по субботам она встречалась с подругами – в большинстве своем тоже служившими, как и она, в домах в окрестностях Холборна и Черкенеуэлла – в Сент-Джордж-Гарденз, и они вместе ходили на экскурсии; я так часто жалела, что не могу быть с ними!

Так и шла моя жизнь своим, лишенным цели путем, пока однажды, за завтраком, без малейшего предупреждения мой отец не объявил, что он нас покидает.

– Тебе давно пора покончить со школой, – сообщил он мне или, скорее, своей тарелке, так как он избегал моего взгляда, пока говорил мне об этом. – Ты уже

достаточно взрослая, чтобы вести дом своей матушки, а мне необходимы тишина и покой, пока я не закончу мою книгу. Поэтому я уезжаю к Гонории, моей сестре, в Кембридж. Я подписал все необходимые бумаги, чтобы ты могла получать в банке денежное содержание, достаточное для того, чтобы вести дом, как он ведется сейчас, а также обеспечил тебе подписку в Библиотеку Мьюди, хотя многие из моих книг останутся здесь, ибо я забираю только свою рабочую библиотеку.

Из этого я поняла, что он никогда сюда не вернется: ведь я столько раз просила его о такой подписке, а он всегда отвечал, что мы не можем себе этого позволить.

– Но, папенька, – сказала я, – я ведь и так уже веду дом для вас (он давал мне деньги на ведение хозяйства каждый четверг, утром, вот уже год или даже больше), и как может ваша жизнь в Кембридже быть спокойнее, чем здесь?

Стеклышки его пенсне ярко блеснули.

– Я уверен, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду, – ответил он. – И я не думаю, что от дальнейшей дискуссии может быть какая-то польза. Я во многом позволял тебе поступать по-своему, Констанс, и ты будь добра позволить мне поступать так же. Я уже сообщил мисс Хейл, что ты покинешь школу в конце этого семестра; сегодня она будет об этом с тобой говорить.

Он аккуратно сложил газету, поднялся из-за стола и ушел, прежде чем я успела спросить его, сказал ли он об этом маменьке.

День прошел словно в каком-то ступоре; я помню, как мисс Хейл – очень маленькая и такая полная, что она походила на медицинбол с ножками, – вызвала меня к себе в кабинет, но не могу припомнить ни одного слова из того, что она мне говорила. И только когда я вернулась перед вечером домой и услышала приглушенные звуки рыданий, доносившиеся из комнаты маменьки, ужас моего положения обрушился на меня со всей силой. Я, казалось, целую вечность простояла на лестничной площадке, изо всех сил желая, чтобы рыдания умолкли, прежде чем прокралась в свою комнату.

До той поры я мало задумывалась о будущем, если не считать детских грез, в которых, в конце учения в школе, я выходила замуж за бесстрашного

исследователя новых мест и путешествовала с ним по всему миру, а маменька с папенькой продолжали жить, как жили всегда. Теперь же я поняла, что отец давно строил планы поступить так, как поступил; я буду жить в заточении в этом доме, пока жива моя мать, если не ожесточу свое сердце настолько, чтобы оказаться способной покинуть ее, как это сделал он. Но даже этого я не смогла бы сделать, пока мне не исполнился двадцать один год, пока я не обрела возможности подыскать себе место работы.

Летти и миссис Гривз, хотя глубоко мне сочувствовали, вовсе не были так уж потрясены папенькиным дезертирством, как мне бы того хотелось. Миссис Гривз сказала, что это вообще чудо, что он оставался с нами так долго, а Летти заметила, что он, по крайней мере, не выбросил нас всех на улицу, как сделал ее отец. И может быть, сказала миссис Гривз, я смогу теперь уговорить свою мать вступить в Холборнское спиритическое общество, раз моего отца больше нет в доме и некому это запрещать: может быть, это Общество – как раз то, что ей нужно, чтобы ее немного приободрить. Мы с Летти при этом переглянулись: Летти по секрету говорила мне, что миссис Визи, которая порой председательствовала на сеансах на Лэмбз-Кондуит-стрит, любит выуживать информацию из служанок о тех, кто участвует в ее сеансах.

В конце концов я собралась с духом и отважилась снова пойти наверх и постучать в дверь к маменьке. Я нашла ее скорчившейся на маленьком низком стульчике, который она ставила прямо у входа в комнатку Элмы. Глаза у нее опухли от рыданий, и выглядела она такой старенькой и съездившейся, что я ощутила мучительные угрызения совести. Я опустилась рядом с ней на колени и обвила рукой ее застывшие, не откликающиеся на ласку плечи.

– Так, значит, твой отец сказал тебе? – спросила она тихим, печальным, лишенным интонаций голосом.

– Да, маменька.

– Это мне наказание.

– За что же, маменька?

– Что не уберегла Элму.

– Но, маменька, вы не могли ее спасти. И Элма теперь на Небе, вы когда-нибудь снова будете с ней вместе.

– Если бы только я могла быть уверена, – прошептала она.

– Маменька, но как же вы можете в этом сомневаться? Она была невинным ребенком, как же ей было не попасть прямо на Небеса?

– Я хотела сказать – а есть ли сами Небеса?

Новая мысль пришла мне в голову, как эхо моего собственного вопроса, заданного миссис Гривз: вместо того чтобы пытаться уговорить маменьку вступить в Общество, я сама вызову дух Элмы.

На следующее утро я избежала встречи с отцом, позавтракав на кухне, а когда вернулась из школы, его уже не было. Летти сказала мне, что в этот день он не пошел в музей: два человека с тележкой, полной ящиков, приехали к дому в половине десятого утра и упаковали вещи и книги под руководством отца, так что к двум часам он уже смог отправиться на вокзал Сент-Панкрас. Через полчаса после этого заходил доктор Уорбёртон. Отец оставил мне письмо на столике в прихожей, оно целиком состояло из инструкций, кроме последнего предложения, в котором говорилось: «Тебе не нужно писать мне, если только не случится что-то чрезвычайное. Тв. люб. отец, Теод. Лэнгтон».

Я не помню, чтобы я хотя бы что-то почувствовала; словно застыв, я поднялась к себе в комнату и принялась репетировать, готовясь к своему «сеансу»; я наблюдала за собой в зеркало из-под полуприкрытых век и пыталась вспомнить, как звучал голос Элмы. То, что приходило мне на память, было всего лишь смутным впечатлением от бессмысленных слов, которые Элма повторяла речитативом на мотивы церковных гимнов; к тому же я не могла сказать, действительно ли я это помню, или мне об этом рассказывала маменька, или это было смутное воспоминание о себе самой.

Маменька в тот вечер казалась не такой безутешной; я подумала, что доктор Уорбёртон, вероятно, дал ей успокоительное. Сидя на стуле напротив нее, я позволила себе закрыть глаза и уплыть в полудрему, пригревшись в тепле камина. Потом я начала напевать тоненьким, высоким голоском, выпевая звуки

на мотив гимна «Все светло и прекрасно...», пока не услышала, что маменька заговорила и голос ее дрожит от переполняющего ее чувства.

- Элма?

- Да, маменька, - ответила я тем же детским голоском, не открывая глаз.

- Элма, это правда ты?

- Да, маменька.

- Где же ты?

- Здесь, маменька; ангел сказал, мне можно к тебе прийти.

- Почему же ты не приходила раньше, моя родная? Я потеряла тебя, и сердце мое разбилось!

Такого вопроса я не ждала и не знала, что отвечать.

- Я не хочу, чтобы ты печалилась, маменька, - наконец произнесла я. - Я счастлива здесь, на Небе, и придет день, ты меня увидишь, и мы никогда больше не расстанемся.

- Молю Бога, чтобы поскорее. Моя жизнь здесь - сплошная мука. Скорее бы она кончилась.

- Тебе нужно постараться быть повеселее, маменька, - беспомощно повторила я. - Мне становится грустно, когда я вижу, что ты плачешь.

- А ты всегда меня видишь, родная моя?

- Да, маменька.

- Тогда почему же ты раньше не приходила?

– Не могла найти пути, – пропищала я и, чтобы избежать других вопросов, снова принялась напевать, так чтобы мой голос постепенно замирал, словно удаляясь, а дыхание замедлялось.

Через несколько мгновений я сделала вид, что проснулась, испуганно вздрогнув, и, открыв глаза, увидела, что маменька смотрит на меня не спуская глаз, – раньше я никогда не видела, чтобы она так на меня смотрела.

– Кажется, я заснула, маменька. Мне снилась Элма.

– Нет, детка. Ты погрузилась в транс. Элма говорила со мной через тебя.

– Что это такое – транс? – совершенно невинным тоном спросила я.

– Это то... что делают спириты... Я хотела попробовать, но он мне запретил. Он сказал, что оставит меня, если только я близко подойду к этим сеансам... а теперь он все равно меня оставил. – Горло у нее перехватило, и она разразилась бурными, неудержимыми рыданиями.

Я подошла к ней, обняла и почувствовала, как впервые за все годы с тех пор, как не стало Элмы, маменька прижалась ко мне в ответном объятии, и мои слезы смешались с ее слезами.

В тот вечер я отправилась спать гораздо более счастливая, чем когда-либо раньше, думая, что маменька наконец-то поднимается из тьмы к свету. Но на следующий же вечер она захотела, чтобы я возобновила погружение в транс. Я сказала, что не знаю, как я это сделала, но попробую. Притворяясь, что заснула, я изо всех сил пыталась придумать что-то новое, чтобы сказать ей, но могла вызвать в памяти лишь смутные образы фигур в белых одеждах, омываемых золотым сиянием света. Что же, как предполагается, должны делать люди на Небесах, кроме как петь и играть на арфах? Миссис Гривз говорила о Стране вечного лета: может быть, Небеса – это что-то вроде замечательного летнего дня на природе, где Элма ездит на небесном пони по полям, усеянным прекрасными цветами? Но если Элме по-прежнему всего два года и она ждет, чтобы маменька прибыла на Небеса поскорее и не пропустила ни одного момента ее взросления, тогда она будет, конечно, слишком мала для пони, даже для небесного... В конце концов я оставила свои попытки и открыла глаза:

выражение безутешного горя снова омрачало лицо маменьки.

– Так Элма к вам не приходила? – спросила я.

Она устало покачала головой.

– Но, маменька, вы же теперь знаете, что ей хорошо на Небе: вам больше не следует печалиться.

– Я не могу быть уверена, – может быть, ты просто разговаривала во сне... Если бы я только могла снова услышать ее голос...

Я смотрела на маменьку, и сердце у меня погружалось во мрак.

– Я не понимаю, как это произошло, маменька, но завтра я снова попытаюсь, – проговорила я наконец и очень скоро извинилась и ушла наверх, в свою комнату.

Я снова чувствовала, как ее горе черным облаком поднимается и обволакивает меня, но понимала, что не смогу продолжать этот обман в одиночку. Вот почему на следующий день, после полудня, я собрала все свое мужество и отправилась на Лэмбз-Кондуит-стрит, где принялась ходить взад и вперед, пока не отыскала дверь с надписью выцветшими золотыми буквами: «Спиритическое общество Холборна». Дверь находилась в стене рядом с магазином шляпника. Я так долго стояла там в нерешительности, что ко мне вышел сам шляпник, и, когда я сказала ему, что хотела бы повидать миссис Визи, он направил меня в другой дом, расположенный дальше по улице. Там девочка-служанка, которой на вид было не более десяти лет, попросила меня подождать, и через некоторое время ко мне вышла полная седовласая женщина, с ног до головы одетая в черное.

Поздоровавшись со мной, она спросила:

– Что же вам может быть нужно от меня, моя милая?

Ее манера говорить немного напоминала манеру Энни.

Я принялась объяснять ей, очень сбивчиво, про Элму и маменьку, и тут она предложила, чтобы мы вместе прогулялись к Приюту для найденышей, где она

любит сидеть, глядя на детей. Что-то в ее голосе, когда она это говорила, навело меня на мысль, что она, возможно, тоже потеряла ребенка, но, когда я осмелилась спросить ее об этом, она ответила, что нет, у нее никогда не было детей. Ее муж, капитан морского судна, утонул у берегов Вест-Индии двадцать лет тому назад.

– Он до сих пор приходит ко мне – иногда, – сказала она. – Но духами нельзя командовать, знаешь ли.

Она вздохнула и погладила мою руку: по-матерински простая женщина, совершенно не похожая на мое представление о спирите-медиуме. Пока мы с ней прогуливались, я рассказала об уходе папеньки и о том, как он запрещал нам даже помышлять о спиритизме; к тому времени, как мы с ней расположились на скамье у статуи ангела, я решила полностью довериться ей и даже рассказала о том, как притворилась, что вызвала Элму.

– Я понимаю – дурно было обманывать маменьку, – говорила я, – но она так долго была несчастна, и, если только она могла бы убедиться, что Элме хорошо на Небесах, я думаю, она могла бы выздороветь.

– Вы не должны себя корить, моя милая. Как знать, возможно, это дух вашей сестры подвигнул вас заговорить ее голосом: вы можете обладать истинным даром, пока еще не подозревая об этом.

– А как я узнаю об этом?

– Чувствуешь... что тебя подхватывает... они такие сильные, порой тебе кажется, что тебя растрясут на кусочки. А после, когда они тебя покидают, такую всю опустошенную... будто сосуд, которым воспользовались, а потом выбросили... Когда я была молодая, как вы, меня наполнял их свет... а сейчас они почти и не приходят совсем. Но ты не можешь забыть, моя милая, не можешь это забыть – никогда.

Она опять погладила мою руку и глубоко вздохнула, а я почувствовала, что слезы жгут мне глаза.

– Но если они к вам не приходят... – отважилась я спросить.

Миссис Визи ответила мне не сразу. По другую сторону изгороди девочки-найденыши собирались во дворе по двое, по трое и по четверо, прыгали через веревочку; казалось, это те же самые девочки, на которых мы с Энни смотрели десять лет тому назад.

– Нам надо помогать людям верить, – сказала наконец миссис Визи, – таким, как ваша бедная маменька. В Лондоне не найдется ни одного медиума, кто бы не притворялся время от времени, и как же это может быть дурно, если приносит утешение тем, кто горюет?

– А... те, кто приходит на ваши сеансы, должны платить деньги?

– Боже упаси, конечно нет, моя милая; мы проводим небольшой сбор потом, и те, кто может себе это позволить, дают – кто сколько может. Но никого, кто в нас нуждается, мы не отвергаем.

Мы помолчали. После паузы я спросила:

– Миссис Визи, а вы сами когда-нибудь видели духа?

– Нет, моя милая, этими моими глазами – никогда. Мой дар не повел меня по этому пути. Но вы знаете, моя милая, в вас есть что-то такое... Я бы вовсе не удивилась, если бы вы оказались избранной.

– Но я вовсе не хочу быть избранной, – сказала я. – Я только хочу, чтобы маменька снова была счастливой.

– Это и есть признак истинного дара, моя милая, не желать этого. А раз уж мы говорим о вашей маменьке, почему бы вам не привести ее к нам на собрание завтра?

– Маменька не выходила из дому уже много лет, – объяснила я. – Но мне самой очень хотелось бы прийти к вам, если можно.

Вот почему на следующий вечер, в половине седьмого, я вышла из дому, сказав маменьке, что у меня болит голова и мне нужно выйти погулять. Она уже снова

погрузилась в темную пустоту своего горя, но я не могла рискнуть снова вызывать дух Элмы, пока не увижу, как миссис Визи проводит свои сеансы. Шла первая неделя июня, было совсем светло, но в воздухе уже ощущался вечерний холодок. Дверь в помещение Общества была открыта, я поднялась по узкой лестнице, как объяснила мне накануне миссис Визи, и вошла в полутемную комнату с деревянными панелями по стенам, где занавеси были уже задернуты. Единственным предметом обстановки здесь был большой круглый стол, за которым расположилось примерно с полдюжины человек, в том числе и миссис Визи, которая сидела спиной к камину, где не очень жарко горел уголь. Она тепло поздоровалась со мной, представила меня своему кружку и пригласила сесть напротив себя, между неким мистером Айртоном, по другую руку которого сидела его жена, и пожилой женщиной по имени миссис Ратледж. Была здесь и еще одна пожилая супружеская пара – мистер и миссис Бэчелор, и еще мистер Кармайкл, невероятно толстый человек: несколько его подбородков словно проливались на необъятное пространство жилета. У него были влажные, бледные глаза, и дышал он с негромким присвистом.

Эти люди, как я позднее узнала, были постоянными посетителями сеансов миссис Визи. Вслед за мной в течение нескольких минут появились еще люди: они приходили до тех пор, пока последнее место за столом не оказалось занято; тогда мистер Айртон поднялся с места и закрыл дверь. Затем он предложил нам всем взяться за руки и пропеть «Пребуди со мной». Мы пропели этот гимн, довольно вразнобой, а затем и еще несколько гимнов; за это время миссис Визи как-то обмякла на своем стуле и, по-видимому, погрузилась в дрему.

Миссис Визи говорила мне о «хозяевах» – духах, которые вещают устами медиума, и все же я испугалась и вздрогнула, когда она заговорила грубым мужским голосом. Мистер Айртон приветствовал этот голос, назвав его «капитаном Визи». Послания были совершенно обыкновенные, но трогающие до слез: например, мистеру Кармайклу было сказано, что Люси следит за ним, как всегда, и что его «теперешнее затруднение» очень скоро разрешится. Он отреагировал на это сообщение глубоким свистящим вздохом, почти рыданием, и склонил голову. Каждый из сидящих за столом получил послание, и я могла видеть, как жадно они прислушивались к каждому слову. В послании для меня говорилось: «Элма говорит, ты поступила правильно», и, хотя я знала, что транс миссис Визи притворный (и на самом деле мне показалось, что одно ее веко слегка дернулось, когда она или, скорее, капитан Визи говорил со мной), у меня все равно от этого в горле встал ком.

Она перестала говорить, и я решила, что сеанс окончен, когда ее глаза, которые в течение всего представления были закрыты, вдруг широко раскрылись и, по-видимому, устремились на некий невидимый прочим объект, витающий где-то над столом.

– Элма, – произнес грубый голос капитана, – Элма станет говорить через Констанс.

Присутствующие ахнули все разом и затаили дыхание. У меня на шее под затылком встали дыбом все волоски. Миссис Визи резко вздрогнула и, казалось, осознала, где она и кто ее окружает.

– Мисс Лэнгтон, – хрипло произнесла она, – вы должны делать то, что он велит. Закройте глаза и вызовите образ вашей сестры.

Голос ее был настойчивым, повелительным; я не могла сейчас сказать, притворяется она или нет. Я закрыла глаза, ощущая, как дрожат в моих руках руки моих сотоварищей, и попыталась сосредоточить все свои мысли на Элме. Через какие-то мгновения я почувствовала, как легкая, почти звучащая вибрация поднимается по моим рукам, охватывая все тело.

– Я чувствую силу, – сказала миссис Визи. – Здесь кто-то есть?

«Это всего лишь мурашки, просто руки онемели...» – испуганно повторяла я себе, силой воли пытаюсь заставить эту вибрацию прекратиться. Однако мне казалось, что у меня в горле накапливаются слова, грозя задушить меня, если я их не выговорю, и, чтобы помешать этому удушью, я начала напевать голосом Элмы, как делала это накануне, выпевая звуки на мотив гимна «Все светло и прекрасно». И вот, очень медленно, напряжение стало ослабевать, и мои руки перестали дрожать.

– Элма, – сказала миссис Визи, – скажи нам, зачем ты пришла? – Голос ее больше не был хриплым.

– Для маменьки, – пропищала я.

– У тебя есть послание для маменьки?

– Скажите маменьке... – Я замолчала, лихорадочно соображая, что бы такое сказать. – Скажите маменьке... хорошо на Небе. Скажите, пусть приходит сюда, к вам.

– Обязательно скажем. И... ты не хочешь ли поговорить с кем-нибудь еще?

Я не ответила, но принялась снова напевать, стараясь, чтобы мой голос постепенно замирал, словно удаляясь, а через несколько мгновений сделала вид, что проснулась.

Три дня спустя маменька, щурясь и помаргивая, вышла на дневной свет. Хотя ей не было еще и шестидесяти, выглядела она так, будто она моя прабабка: в потрепанном траурном платье порыжевшего коричневого цвета, маменька судорожно цеплялась за мою руку. Выражение ее лица, когда она смотрела вокруг, было растерянным, но странно нелюбопытным, и я вдруг осознала, что она практически не видит ничего из того, на что я ей указываю: она стала такой близорукой, что ее мир сократился до кружка всего в несколько футов шириной.

Миссис Визи шепнула мне так, чтобы никто не слышал, что она уверена – Элма снова захочет говорить моими устами, и так оно и оказалось. Я чувствовала, как дрожит рука маменьки в моей ладони, когда я начала напевать голосом Элмы, и, хотя она задавала более или менее те же самые вопросы и получала на них более или менее такие же ответы, как в тот первый вечер в гостиной, она, как и тогда, плакала от счастья, когда сеанс закончился. Мы оставались там еще некоторое время, беседуя с мистером и миссис Айртон, которые потеряли обоих своих сыновей в эпидемию холеры. Я пригласила их зайти к нам на чашку чая на следующей неделе, полагая, что все пойдет хорошо.

Некоторое время казалось, что так оно и идет. Маменька по-прежнему способна была думать только об Элме, ничто другое ее не интересовало. Она отказалась от возможности носить очки на том основании, что нет ничего такого, что ей нужно было бы видеть... Но я была в таком восторге – ведь она стала теперь общаться с другими людьми, – что меня нисколько не беспокоило то, что все их разговоры были об утратах, понесенных в этом мире, и о радостных встречах в мире загробном. Спиритическое общество собиралось два раза в неделю, а между сеансами я порой сидела с миссис Визи на скамье перед Приютом для найденышей. Там она обучала меня искусству быть спиритом-медиумом, всегда

основываясь на понимании, что мы просто стремимся помочь духам выполнить их задачу, и предлагала послания, которые Элма могла бы передавать другим участникам сеансов. Со временем я поняла, что она готовит меня себе в преемницы, хотя я никогда не была уверена в ее истинных мотивах, как никогда не была уверена в том, действительно ли она верит в свой дар или нет. Я подозреваю, что – как и у меня – у нее бывали проблески спиритического дара, мимолетные и не вполне определенные, приходящие к тебе, когда их менее всего ожидаешь.

Миссис Визи утверждала, что меж нами существует духовное родство; однако я сознавала, что нас еще связывают и наши откровенные признания друг другу: ни одна из нас не могла бы позволить себе раскрыть секреты другой, и я иногда поражалась, почему она выбрала меня. Еще я заметила, что добровольные даяния возрастали по мере того, как развивалось наше сотрудничество; все деньги, разумеется, шли миссис Визи. Однако, хотя меня порой мучила совесть, обман не казался мне таким уж дурным делом, раз он совершался ради маменьки. Наше Общество вовсе не было обществом людей знатных: в него входили обедневшие мелкопоместные дворяне, респектабельные дамы, сами ведущие свой дом, люди, представляющие не очень хорошо обеспеченную часть своего сословия. Большинство участников сеансов – и в их числе, разумеется, моя маменька – стремились, а то и просто решили раз и навсегда верить всему, что бы ни сказал им их медиум, и с помощью миссис Визи я стала обретать репутацию, которая меня и радовала и тревожила. Я должна признаться, что наслаждалась властью, которую эта репутация мне даровала, – ведь к моим словам жадно прислушивались взрослые мужчины и женщины. А порой – хотя я никогда не была в этом вполне уверена – я ощущала, что мой притворный транс превращается в настоящий. Звуки нарастали, становились громче: потрескивание углей в камине, едва слышное посвистывание астматического дыхания мистера Кармайкла... и вот уже кровь плещет и гремит у меня в ушах, и звуки начинают обретать форму, становятся словами или, вернее, тенями слов, будто это чья-то беседа, услышанная на большом расстоянии. И все же чем больше я этим занималась, тем меньше я верила во все относящееся к миру духов, которых мы с такой уверенностью вызывали и цитировали.

Я надеялась, что маменьку удовлетворят регулярные послания от Элмы, но по мере того, как надвигалась осень и дни становились все короче, у нее все чаще стал снова появляться прежний, затравленный взгляд человека, неотступно терзаемого печальными мыслями. Как она может быть уверена, спрашивала она,

что это и вправду говорит Элма? И почему я не могу вызывать ее дома? Я пыталась предупредить эти вопросы, объяснив, что первый вызов Элмы был избранным ею самой способом вовлечь нас в кружок миссис Визи, однако мои уверения звучали неубедительно даже на мой собственный слух. Слышать голос Элмы маменьке стало уже недостаточно – он ничего не доказывал. Моя мать хотела видеть Элму, коснуться ее, подержать на руках, и, услышав от других участников сеансов, что есть такие медиумы, которые могут делать духов видимыми, она стала задаваться вопросом, почему же я не отвезу ее к такому медиуму, и наконец произнесла этот вопрос вслух. Миссис Визи неодобрительно относилась к манифестациям – проявлению духов. Использование кабинета, утверждала она тоном праведницы, – явный признак жульничества. Но воспользоваться этим аргументом в разговорах с маменькой мне вовсе не хотелось; я думала о том, чтобы составить послание от Элмы в соответствии со строкой «блаженны те, что не видели, но все же уверовали». Однако я сомневалась, что это утолит ее неукротимую жажду. Поэтому я решила сама посетить сеанс с манифестацией в надежде отыскать кого-то, кто сможет предъявить убедительный образ Элмы угасающему зрению моей матери.

Некоторые члены нашего кружка говорили мне – правда, так, чтобы не слышала миссис Визи, – о некой мисс Карвер, чьи сеансы проходили в доме ее отца на Мэрилебоун-Хай-стрит. Говорили, что Кейти Карвер очень миловидна и способна не только вызывать своего «хозяина», столь же привлекательного духа по имени Арабелла Морс, но и целый полк духов. Только когда я уже благополучно обеспечила себе место на очередном сеансе мисс Карвер и внесла гиней («на благотворительные цели»), мне пришло в голову, что нужно было назваться вымышленным именем. Мисс Лестер, молодая женщина, принявшая от меня деньги, провела меня в тускло освещенную комнату, обставленную точно так же, как наша на Лэмбз-Кондуит-стрит, только, кроме круглого стола, тут были еще и ковры. Свечи горели на столе и внутри алькова в дальнем углу комнаты. Альков был небольшой, величиной примерно в шесть квадратных футов, с тяжелыми драпировками от потолка до пола, подвязанными впереди, чтобы показать, что в алькове нет ничего, кроме простого стула с прямой спинкой.

Когда все места за столом были заняты (всего нас было там, я думаю, человек пятнадцать), появилась сама мисс Карвер, и все джентльмены поднялись на ноги и приветствовали ее поклоном. Она была действительно хороша собой, небольшого роста, полногрудая, со светлыми волосами, заплетенными в косы и уложенными вокруг головы. Одета она была в простое и свободное белое платье

из муслина. Мисс Лестер представила нас по очереди; участники сеанса были одеты гораздо более тщательно, чем в кружке миссис Визи, но единственное имя, которое мне запомнилось, было имя мистера Торна – высокого светловолосого молодого человека, сидевшего за столом напротив меня. Что-то в выражении его лица – тень саркастической усмешки? – привлекло мое внимание, и я заметила, что мисс Карвер посмотрела на него очень пристально, когда подошла его очередь быть представленным.

Я знала, что во время таких сеансов медиум сидит внутри кабинета, но была очень удивлена, когда по сигналу мисс Карвер несколько мужчин (но не мистер Торн) прошли следом за нею в альков и под наблюдением мисс Лестер накрепко привязали ее к стулу чем-то вроде шелковых шарфов. Узлы были проверены, мужчины вернулись на свои места; мисс Лестер погасила свечи в кабинете, задернула драпировки и попросила всех нас взяться за руки.

– Вы не должны нарушать круг, если только дух не пригласит вас это сделать, – сказала она. – Такие манифестации – очень большое напряжение для мисс Карвер; если вы не станете поступать точно так, как вам сказано, вы можете причинить ей вред.

После этого она попросила нас спеть гимн «Господь наш Спаситель во веки веков...», забрала канделябр и тихо вышла из комнаты, оставив нас в полной темноте.

Мы пропели, пожалуй, около полудюжины гимнов, ведомые мощным баритоном, раздававшимся где-то справа от меня, когда я вдруг заметила слабое сияние в том углу, где находился кабинет. Сияние стало ярче и превратилось в сверкающий нимб вокруг смутных очертаний головы, а затем, казалось, стало разворачиваться книзу, обрисовывая фигуру женщины, окутанную сияющими полотнищами света. Она заскользила прочь от кабинета и начала совершать кружение вокруг стола. Когда она приблизилась, я смогла разглядеть движение ее членов под светящимися вуалями, а затем блеск глаз и некое подобие улыбки. Эффект ее появления ясно выразился в участившемся дыхании моих компаньонов. «Арабелла, – произнес мужской голос из тьмы слева от меня, – не подойдешь ли ты ко мне?»

Она прошла за моим стулом, оставив вполне ощутимый запах духов (и, как мне показалось, человеческой плоти), проскользнула поближе к столу, так что человек, заговоривший с ней, был освещен сиянием ее одежд, и поцеловала его

в макушку, вызвав глубокий вздох присутствующих, а затем снова скользнула прочь. Она завершила уже почти три четверти круга, когда я услышала приглушенное восклицание, скрип стула и увидела новый огонек, поплывший вверх из тьмы перед нею: небольшой фиал, наполненный сиянием, осветил лицо мистера Торна, который протянул другую свою руку и схватил за запястье ускользающий дух. «Нет нужды сопротивляться, мисс Карвер, – произнес он холодно. – Мое имя – Вернон Рафаэл, из Общества психических исследований. Не хотите ли вы объясниться с присутствующими?»

Вся комната внезапно пришла в движение. Сидевшие рядом со мной отпустили мои руки, опрокидывались стулья, в нескольких местах зажглись спички, высветив мистера Торна – или, вернее, мистера Рафаэла, – державшего на расстоянии вытянутой руки весьма разгневанную мисс Карвер, чей корсет и панталоны отчетливо виднелись сквозь множество слоев прозрачной ткани, кажется кисеи. Секундой позже она вырвала у него свою руку и бросилась назад в кабинет, рывком задернув за собою драпри.

Я ожидала, что участники сеанса выволокут ее оттуда обратно, но, к моему вящему удивлению, несколько мужчин схватили вместо нее Вернона Рафаэла, крича, что его вмешательство – полное безобразие, оскорбление и чертовски позорный поступок, и потащили его к двери. Совершенно непроизвольно я поднялась с места и последовала за ними. «Ну хорошо, хорошо, я и сам уйду, без шума», – услышала я слова Вернона Рафаэла, когда они выталкивали его на крыльцо и вниз по ступеням, а вслед за ним выкинули на улицу и его шляпу. На меня же никто не обратил ни малейшего внимания, так что я взяла свою накидку и шляпку с вешалки в прихожей и спустилась с крыльца следом за ним. На улице я подождала, пока не услышала, как дверь за мной закрылась; Вернон Рафаэл медленно удалялся, стряхивая со шляпы пыль.

Когда я догнала его и пошла рядом, он грустно взглянул на меня:

– Вы тоже явились упрекать меня за жестокость к духам, мисс... э...

– Мисс Лэнгтон. Да нет. Я только хотела...

Я умолкла, задавая себе вопрос: так чего же на самом деле я от него хотела? При свете дня его волосы оказались цвета соломы, с рыжеватым оттенком, а глаза – очень синие, только это была какая-то холодная синева, и в складе лица

виделось что-то немного волчье; но мне понравились иронические нотки в его голосе. Мы пошли дальше вместе; день клонился к вечеру, и улица была довольно тиха.

– Ваша работа в Обществе, мистер Рафаэл, имеет целью раскрывать обман?

Миссис Визи предостерегала меня от Общества психических исследований: это скептики, ни во что не верящие люди, говорила она, не испытывающие никакого уважения к ушедшим от нас.

– В общем, да, в каком-то смысле: я по профессии – один из их исследователей, но обнаружение мошенничества есть лишь часть моей работы, фактически это скорее увлечение, а не работа. А вы, мисс Лэнгтон? Что привело вас в гостиную мисс Карвер?

И снова я пожалела, что не скрыла своего имени; что, если он займется Холборном? Но тут мне пришло в голову, что бояться, собственно, нечего, раз я знаю, кто он такой.

– Любопытство, – ответила я. – Вы полагаете, мистер Рафаэл, что все спириты-медиумы – обманщики?

– Все медиумы – проявители духов – да.

– А психомедиумы? – Я слышала этот термин от миссис Визи.

Он с любопытством взглянул на меня:

– Я вижу, вам кое-что известно об этом предмете. Некоторые – да, обманщики; другие, в большинстве случаев, самообольщаются.

– В большинстве?

– Ну... Я ведь скептик, а не убежденный атеист – во всяком случае пока еще нет. Герни и Майерс – вы о них слышали? – отобрали несколько весьма замечательных случаев: они исследуют субъектов, которые утверждают, что видели призрак друга или родственника в момент смерти этого человека, но

определенного вердикта они еще не вынесли. А вы, мисс Лэнгтон? Во что вы верите?

– Не знаю, во что я верю, но... – Я решила в конце концов рискнуть. – Моя сестра умерла, когда мне было пять лет, и моя мать от горя с тех самых пор впала в прострацию. Откровенно говоря, мистер Рафаэл, если бы я могла отыскать медиума, который смог бы убедить мою мать, что Элме хорошо на Небесах, я хотела бы, чтобы она обрела это утешение. Вот я и подумала: может быть, есть кто-то, кого вы могли бы рекомендовать?

– Мое дело, мисс Лэнгтон, – он говорил так, будто моя просьба его скорее позабавила, чем рассердила, – разоблачать обманщиков, а не рекомендовать их.

– Хорошо вам рассуждать так, мистер Рафаэл: вы умны, уверены в себе и чувствуете себя на своем месте в этом мире, но почему же нужно лишать таких, как моя мать, кто просто раздавлен тяжестью горя, того утешения, которое может принести им сеанс?

– Потому что это ложное утешение.

– Это жесткая доктрина, мистер Рафаэл, кредо мужчины, если мне будет позволено так сказать. Разве вам никогда не приходилось лгать или умалчивать о чем-то, чтобы пощадить чувства другого человека? Если бы вы, скажем, потеряли брата и ваша матушка была бы в прострации от горя, стали бы вы так строго настаивать – как настаивал мой отец, – чтобы она не смела получать утешение на сеансах?

Надо отдать справедливость – он выглядел несколько обескураженным.

– Признаюсь, мисс Лэнгтон, что мне не хотелось бы выводить ее из заблуждения. Но возьмем другую сторону медали – как быть с теми медиумами, кто безжалостно, ради наживы охотится за горюющими и живет за их счет? Вы полагаете, им следует позволить свободно бесчинствовать?

– Думаю, нет, – неохотно согласилась я. – Но ведь не все они такие.

– Вы, очевидно, судите по собственному опыту.

- Очень небольшому... Так, значит, нет никого, кого вы могли бы мне назвать?
- Но разумеется, мисс Лэнгтон, ваша матушка нуждается в помощи врача, а не медиума.
- Врач навещал ее все эти двенадцать лет, - сказала я, - без малейшей пользы.
- Понимаю... Трудность заключается в том, мисс Лэнгтон, что, если бы я направил вас к известному или хотя бы подозреваемому мошеннику, я нарушил бы свой долг перед Обществом, в котором работаю. И, кроме того... Мисс Карвер считается одной из лучших в Лондоне: вы сами имели возможность наблюдать, как рьяно защищают ее ее обожатели.
- Но ведь не может быть сомнений, - возразила я, - что после сегодняшнего... ее репутация утрачена безвозвратно.
- Вовсе нет, - весело откликнулся он. - В спиритической прессе поднимется фурор, некоторые из ее приверженцев отпадут, но на их место придут другие. Это лишь часть игры.
- Вам так это представляется?
- Его ответ был заглушен криком уличного торговца: мы подошли к Оксфорд-стрит, и движение на улице возрастало.
- Мисс Лэнгтон, - произнес он, - я собирался вернуться в помещение Общества в Вестминстере, но не могу ли я проводить вас домой - если, конечно, вы направляетесь домой?
- Благодарю вас, нет. Я привыкла ходить одна.
- Тогда могу ли я надеяться увидеть вас снова?
- Мне очень жаль, - отвечала я, - но это совершенно невозможно. Прощайте, мистер Рафаэл.

Я вернулась домой, полная решимости больше никогда ничего общего не иметь с манифестациями духа, но одного взгляда на маменьку, съезжившуюся на диване в гостиной, где были задернуты шторы, оказалось достаточно, чтобы изменить мое решение. В любом случае Вернон Рафаэл не будет допущен в кружок мисс Карвер, а притом что безутешное горе маменьки снова, словно миазмы, заполняло дом, терять мне было нечего. Так что на следующий день я возвратилась на Мэрилебоун-Хай-стрит. Мисс Лестер, как я и предполагала, не заметила, что я ушла, и благосклонно приняла выражения моего сочувствия мисс Карвер, как и пожертвование в три гинеи (составлявших все мои сбережения) на дело спиритизма. Я рассказала ей о тяжелом состоянии моей матери и спросила, правда ли, что духи могут материализоваться в разных возрастах. «Если бы только, – печально сказала я, – маменька могла подержать Элму на руках – такую, какой та была во младенчестве, – она могла бы наконец обрести покой». Мисс Лестер спросила меня, между прочим, не могу ли я припомнить, какими духами пользовалась моя матушка, когда Элма была еще с нами: ароматы, сказала она вполне серьезно, могут очень помочь, когда вызывают духов. Но, разумеется, мисс Карвер захочет встретиться с моей матушкой до сеанса. Позорный обман мистера Рафаэла нанес серьезный ущерб ее здоровью, и поэтому им, как это ни печально, приходится остерегаться разрушительных влияний.

В следующее воскресенье, вечером, в восемь часов, я сидела рядом с маменькой у мисс Карвер, в комнате для сеансов, исподтишка изучая лица других сидевших вокруг стола. Перед этим я пыталась убедить маменьку, что необходимо держать все в секрете, чтобы никак не задеть чувства миссис Визи, но совсем не была уверена, что она меня поняла, и теперь я смотрела, как последних участников сеанса проводят на их места за столом, с чувством человека, добавляющего еще один – явно лишний – этаж к карточному домику.

Мисс Карвер привязали к стулу, как в прошлый раз. Мисс Лестер задернула драпри и пригласила нас спеть гимн «Веди, Добрый Свет...», и, когда огни были потушены, я почувствовала, как дрожит в моей руке рука моей матери. Мы успели почти до конца допеть гимн «Господь мой пастырь...», когда слабое свечение в углу комнаты возвестило о появлении Арабеллы. Пение замерло; я услышала поскрипывание стульев, участившееся дыхание; однако на этот раз сияние оставалось бесформенным, плавающим в пустоте, как блуждающий огонек. Через несколько секунд оно стало удаляться от меня, следуя, как мне подумалось, окружности стола, но в той крошечной тьме я не смогла бы узнать,

даже если бы стены комнаты вокруг нас вдруг растворились.

Потом откуда-то над моей головой запел голос – тоненьким высоким речитативом, выпевая звуки на мотив гимна «Все светло и прекрасно...». Я рассказала мисс Лестер о том, как пела Элма, но меня все равно затрясло, и я почувствовала, как конвульсивно дернулась в моей руке ладонь маменьки.

– Элма? – воскликнула она.

Пение смолкло, и к нам сверху поплыл аромат фиалковой воды: этими духами моя мать не душилась со дня смерти Элмы. Слабое пятнышко света зашевелилось, стало ярче и, казалось, начало раскрываться, словно цветок, в сияющий образ Арабеллы, лицо которой смотрело на нас через стол; только на этот раз она держала что-то на руках, словно убаюкивая. Сопровождаемая потрясенным шепотом, она заскользила по комнате, пока наконец не остановилась прямо за нашими спинами.

– Элма пришла с Небес, чтобы утешить свою маменьку, – прозвучал женский голос из тьмы над нашими головами. – Но она может побыть совсем недолго.

Аромат фиалковой воды стал сильнее. Маменька уже отпустила мою руку и, хотя я могла смутно видеть лишь ее очертания, повернулась на стуле и протянула руки к маленькому мерцающему свертку, который чуть шевельнулся, когда моя мать приняла его на руки: это была вовсе не кукла, а реальное дитя в светящихся пеленах.

– Элма! – пробормотала она. – Наконец-то! Наконец.

В темноте рядом с нами кто-то плакал. Слезы навернулись и мне на глаза, и мне пришлось подавить порыв, тут же шепотом поблагодарить мисс Карвер, склонившуюся так низко к нам, что я чувствовала жар ее тела. Так продолжалось, возможно, около двадцати секунд, когда мисс Карвер снова протянула руки, и маменька, к моему удивлению, отдала ей ребенка, лишь глубоко вздохнув при этом. Ее вздох эхом повторили сидевшие вокруг стола, а светящаяся фигура повернулась, заскользила назад и исчезла во тьме.

Моя мать то улыбалась, то лила слезы, когда кеб, грохоча по булыжнику, вез нас домой, и благодарила меня снова и снова.

– Наконец-то, – повторяла она, – наконец-то я могу обрести покой.

Я помню, как обняла Летти, когда она отворила нам дверь; помню еще, что задумывалась над тем, как же мне уговорить маменьку, чтобы она ничего не рассказывала нашим сотоварищам по сеансам на Лэмбз-Кондуит-стрит, и стоит ли мне даже пытаться это делать: может быть, после такого нужда в наших сеансах вообще отпадет. Я попробовала уговорить маменьку выпить бокал вина за ужином, но она отказалась.

– Милая Констанс, я совершенно счастлива и совсем не хочу есть. Я пойду лягу спать и увижу во сне Элму. – С этими словами она поцеловала меня и пошла наверх, а я отправилась вниз, на кухню, поужинать с Летти и миссис Гривз и рассказать им – столько, сколько осмелюсь, – из того, чему стала свидетелем; а потом – к себе в комнату, где заснула более глубоким и спокойным сном, чем спала долгое время до этого, и проснулась, когда косые лучи осеннего солнца заглянули в мое окно.

Маменька не вышла к завтраку, но это было в порядке вещей; Летти обычно относила поднос с завтраком наверх в десять часов и легонько стучала в дверь, а потом оставляла поднос, чтобы моя мать забрала его, когда ей будет удобно; так что я почувствовала какое-то беспокойство, только когда часы пробили одиннадцать раз. В конце концов мы решили взломать дверь кочергой и обнаружили маменьку в постели, уютно укрытую одеялом, с прижатой к груди крестильной рубашечкой Элмы и со слабой улыбкой на губах. На ночном столике рядом с ней стоял пустой флакон из-под лауданума и лежала записка: «Прости меня: я не могла больше ждать».

К счастью, дни, которые за этим последовали, я помню очень смутно. Я могу скорее вообразить, чем припомнить, как чувство ледяного мрака заполнило меня всю, словно безутешное горе маменьки снизошло теперь на меня; еще помню абсолютную убежденность, что я никогда больше не буду ни есть, ни спать, а только лежать на кровати у себя в комнате и с сухими глазами вглядываться во тьму, думая о том, что же со мной станет и посадят ли меня в тюрьму, если я явлюсь в полицию и сообщу о том, что совершила. Однако я ничего не сказала о

сеансах ни доктору Уорбёртону, ни моему отцу, когда он явился в состоянии предельного раздражения (это было исключительно нечутко со стороны твоей матери, почти прямо заявил он, – отравиться, как раз когда он предполагал начать работу над вторым томом) и объявил, что отказывается от аренды дома.

Мы сидели, как это обычно бывало во время наших редких бесед, за завтраком в столовой; он, казалось, и не заметил, что я ничего не ем.

– Это огромное неудобство, – сказал он, – но я полагаю, тебе придется жить с нами в Кембридже. Моя сестра найдет тебе работу у себя в доме, а в остальном ты должна будешь вести себя тихо и не вызывать больших пертурбаций.

– А что будет с Летти и миссис Гривз?

– Им, разумеется, придется подыскивать себе новое место.

– Но, папенька...

– Будь любезна меня не прерывать. Они получают обычную месячную плату взамен своевременного предупреждения об увольнении, что я считаю более чем щедрым, а ты можешь дать им рекомендации, если сочтешь нужным. А теперь у меня масса дел, которые следует сделать, благодаря твоей матери – то есть из-за этого неприятного события... Нет, ни слова более, прошу тебя. Я вернусь поздно.

К моему великому удивлению, Летти и миссис Гривз приняли эту новость вполне философски. «С нами все будет в порядке, милая моя, – сказала миссис Гривз, – я знаю, ты дашь нам хорошие рекомендации; а вот тебе в Кембридже жизни просто не будет».

И в самом деле, я чувствовала, что скорее отправлюсь в тюрьму, но у меня не хватало духу протестовать. Я послала миссис Визи письмо, которое сочиняла с огромным трудом, сообщив ей, что маменька умерла и что я не смогу больше видаться ни с нею, ни с членами ее кружка; при этом меня не оставляла мысль о том, много ли времени пройдет, прежде чем кружок мисс Карвер пересечется с кружком миссис Визи. И вот маменьку похоронили холодным октябрьским утром; у ее могилы стояли только мой отец, миссис Гривз, Летти и я.

Примерно через неделю после похорон, когда я убирала в сундук мамину одежду, размышляя о том, что же мне делать с вещичками Элмы, ко мне подошла Летти и сказала, что пришел какой-то джентльмен и спрашивает, нельзя ли увидеть меня. Отец, как всегда, отсутствовал: он утверждал, что сбился с ног, улаживая дела по отказу от аренды дома, но я подозревала, что большую часть времени он проводит в музее. Я, словно закоченев, спустилась по лестнице, полагая, что это кто-то явился по поводу книг или мебели, но вместо этого обнаружила в прихожей невысокого коренастого человека, который показался мне смутно знакомым, хотя я была уверена, что никогда раньше его не встречала. На нем был зеленый вельветиновый пиджак, довольно поношенный, и серые фланелевые брюки с пятном краски на одном колене; ему было где-то между пятьюдесятью и шестьюдесятью. На макушке у него сияла лысина, но ее окружала целая грива непослушных каштановых с проседью волос, довольно длинных по бокам, так что они почти закрывали уши. Спутанные бакенбарды, борода и густые усы скрывали его рот и большую часть щек, глаза у него были темно-карие, у нижних век – морщины, а лицо – то есть то, что можно было разглядеть, – сильно обветренное и загорелое.

– Мисс Лэнгтон? Мое имя – Фредерик Прайс, и я полагаю, что, должно быть, прихожусь вам дядей. Я увидел сообщение о смерти моей сестры – вашей матушки – в «Таймсе» и пришел выразить вам свои соболезнования.

Я в удивлении глядела на него: теперь, когда он это сказал, я разглядела в нем слабое сходство с моей матерью.

– Благодарю вас, сэр. Боюсь, мой отец вернется поздно, он редко бывает дома. Не хотите ли выпить чаю?

– Но мне не следовало бы доставлять вам беспокойство в такое тяжелое для вас время.

– Вы не доставите мне никакого беспокойства, – ответила я. У него был тихий и немного нерешительный голос, и что-то в его тоне пришлось мне по душе. – Я буду только рада отвлечься от своих дум.

Я привела его в гостиную, где многие украшения были уже сняты и упакованы: у камина стоял заполненный до половины ящик.

– Вас, наверное, удивляет, почему мы никогда не встречались, – сказал он. – Дело в том, что я потерял связь с вашей матерью после того, как она вышла замуж. Я не имел представления, что она живет в Лондоне, пока на днях не увидел это сообщение. И... ну, если говорить откровенно, мы никогда не были близки, отчасти из-за того, что я редко ее видел. Видите ли, я поссорился со своим отцом: он хотел, чтобы я стал священником и читал проповеди, а я хотел быть художником и писать картины; дело кончилось тем, что он лишил меня наследства, а я сбежал в Италию еще до того, как мне исполнился двадцать один год. Бедная Эстер осталась ухаживать за ним, и я думаю, ей это было не очень-то приятно, – и кто бы мог ее осуждать за это? А потом, когда отец умер, я не мог вернуться... ну, во всяком случае я не вернулся домой. Последнее письмо, которое я от нее получил, было о том, что она помолвлена и собирается замуж. Я надеялся, что она наконец будет счастлива... А потом я вернулся в Лондон в тысяча восемьсот семьдесят пятом и снял дом в районе Сент-Джонз-Вуд, где с тех самых пор и находится моя мастерская, так и не узнав, что у меня в Лондоне есть племянница, которая к тому же живет всего в трех милях от меня.

– А я никогда не знала, что у меня есть дядя-живописец.

– Скорее, мастер на все руки, так сказать. В свое время я был... сейчас вспомню... иллюстратором (так я в основном и зарабатываю себе на жизнь), копировальщиком, чертежником, реставратором, ну и живописцем – каким-никаким, а художником... Это была долгая болезнь? Ваша матушка... простите меня.

– Да, но только не так, как вы... По правде говоря... – И тут я принялась рассказывать ему свою историю. Он слушал меня серьезно, ничему не удивляясь, даже когда я стала говорить о сеансах, и каким-то чудом мне удалось досказать все до конца, не разрыдавшись. – Так что, видите ли, сэр, – хотя мой отец об этом не знает – это я стала причиной смерти моей матери.

– Вы судите себя слишком жестко, – ответил он. – Из всего, что вы рассказали, меня удивляет лишь то, что она не свела счеты с жизнью задолго до этого. Вы совершили великодушный поступок, и вам не за что себя упрекать.

Вот тут я все-таки разрыдалась, но увидела, что это привело его в совершенное замешательство, и постаралась сдержать слезы, как только смогла.

– А теперь вы едете с отцом к вашей тетушке в Кембридж? – спросил он.

– Я никогда ее не видела. Я им не нужна, я и не поехала бы ни за что, но – да, я должна ехать...

– Понимаю, – сказал он и некоторое время молчал.

– Констанс – если мне позволено будет вас так называть, – произнес он наконец, – я холост. И я знаю себя достаточно хорошо, чтобы признавать, что я человек эгоистичный. Я ценю свой покой и тишину, свои удобства, люблю быть уверен, что после завтрака уйду к себе в мастерскую и мне никто не станет мешать в следующие десять часов. У меня есть кухарка и горничная, обе они отличные женщины, но порой они беспокоят меня вопросами. А вот если бы у меня был кто-то, кто вел бы дом, кто-то, кто изучил бы, что мне нравится, а что не нравится, и приглядывал бы за тем, чтобы все шло гладко как по маслу, – скажем, спокойная, сдержанная молодая женщина, и особенно если бы ее отец согласился обеспечить ей некоторое содержание, так как, откровенно говоря, сам я не располагаю средствами... Все это было бы не так уж обременительно, и дом достаточно велик, чтобы у вас было в нем свое собственное помещение...

Через неделю я обосновалась в доме моего дяди на Элзуорти-Уок. Я чувствовала такое облегчение оттого, что мне не пришлось ехать в Кембридж, что была бы рада получить тюфяк в подвале, поэтому комната на верхнем этаже, с окном, выходящим на восток, на поросший травой склон холма Примроуз-Хилл, показалась мне просто чудом. Обеденный стол в столовой был вечно завален книгами и газетами – представление моего дяди о комфорте включало возможность оставлять вещи там, где ему заблагорассудится, и он радовался, что мы оба любим читать за едой; часто бывало так, что за целый день мы успевали обменяться только словами «Доброе утро!» и «Спокойной ночи». Поначалу я не могла выйти из дому, не опасаясь, что встречу кого-нибудь из кружка мисс Карвер или миссис Визи, но так никого и не встретила, а дядя мой никогда ни словом не упоминал о сеансах. Вместо Приюта для найденышей у меня теперь был Примроуз-Хилл, и той осенью я часто сидела в своей комнате у окна, глядя, как играют на склоне дети, и находя необъяснимое утешение в этом зрелище.

Но даже в этой спокойной обстановке не покидало меня бремя моей вины: оно стало чуть менее тяжким лишь через много месяцев, и тогда угрызения совести сменились все возрастающим душевным беспокойством.

Мои обязанности по ведению дома и впрямь оказались вовсе не обременительными, оставляя в моем распоряжении массу свободного времени. Дядя мой, как я вскоре поняла, остерегался всяческих проявлений чувств, думаю, не по какой-то внутренней холодности, но потому, что боялся их воздействия на него. Из некоторых оброненных им фраз я могла заключить, что его порой мучит совесть из-за проявленного им невнимания к своей семье, особенно – к моей матери, которую он мог бы вполне легко разыскать, и то, что он взял меня к себе, было его попыткой загладить свою вину. Но мне казалось, ему нравится, что я живу у него в доме: теперь в доме жил кто-то, с кем можно поговорить, если есть такое желание, а если такого желания нет, то его оставят в покое – заниматься собственными мыслями; может быть, он и чувствовал, что меня что-то беспокоит, но виду не показывал.

В любом случае я не могла бы ему сказать, что именно меня беспокоит. Я привыкла к одиночеству и не скучала – или полагала, что не скучаю, – по обществу сверстников; я не обладала ни особыми талантами, ни амбициями и, уж конечно, никак не стремилась выйти замуж. И все же было что-то такое, чего мне недоставало, я испытывала какую-то безымянную, безликую тоску, которую удавалось утихомирить лишь многочасовой ходьбой в любую погоду; в конце концов я узнала каждую улочку, каждый закоулок в нашем районе, все возможные пути до самого края Хэмпстеда, где дома уступали место лугам и полям. Но я никогда не возвращалась в Холборн.

Через некоторое время я нашла работу – меня взяли приходящей гувернанткой к детям капитана Тременхира, служившего в частях Королевской конной артиллерии, размещенных в казармах на холме Орднанс-Хилл. Это несколько обескуражило моего дядю, но я напомнила ему, что выплачиваемое мне отцом содержание прекратится, как только мне исполнится двадцать один год, а я не могу позволить себе жить у него из милости. Работая, я чувствовала себя гораздо более счастливой и очень полюбила своих трех учеников, но беспокойство меня не оставляло: я не могла избавиться от чувства, что проживаю свои дни как во сне в ожидании, пока не начнется моя настоящая жизнь, какой бы она ни была.

Весной 1888 года внезапно – от удара – скончался мой отец. Я узнала эту новость из письма тетушки, которая сообщала мне, что отец завещал все ей, оставив инструкцию, чтобы она продолжала выплачивать мне содержание, пока – в будущем январе – не наступит мое совершеннолетие. Она не пригласила меня на похороны, да я и не хотела бы этого; я знала, что никогда ничего для отца не значила, и горевала, думается, из-за отсутствия должного чувства, а не из-за утраты человека, которого едва знала.

Следующее лето было таким холодным, что едва ли заслуживало своего названия, а осень была омрачена непрекращающимися известиями о злодеяниях в Уайтчепеле[3 - Злодеяния в Уайтчепеле – зверские убийства женщин (главным образом женщин легкого поведения) преступником, получившим прозвище Джек-потрошитель. Убийца так и не был найден. Печально знаменитое «Дело Джека-потрошителя» в то время заполняло страницы популярных газет.]. Мои одинокие прогулки сократились: я больше не могла чувствовать себя в безопасности за пределами Сент-Джонз-Вуда; а затем, в декабре, капитана Тременхира перевели в Олдершот, и он забрал туда с собой свою семью. Мой двадцать первый день рождения миновал, а я так и не нашла другого места работы; но вот, как-то утром, после завтрака, просматривая от нечего делать колонку личных объявлений в «Таймсе», я наткнулась на такое объявление:

Если Констанс Мэри Лэнгтон, дочь покойной Эстер Джейн Лэнгтон (урожденной Прайс), ранее проживавшей на Бартрамс-Корт, что в Холборне, свяжется с уполномоченными поверенными в делах Монтегю и Веннигом, в их конторе на Уэнтворт-роуд в Олдебурге, она сможет узнать нечто для себя выгодное.

Я вообразила, что все разъяснится в ответном письме мистера Монтегю, но в нем содержалась лишь просьба иметь при себе «доказательства, которые могут быть сразу же представлены», что я действительно та самая Констанс Мэри Лэнгтон, о которой идет речь. Мой дядя, составляя черновик соответствующего заявления, шутил, что я – насколько ему известно – могла просто забрести в дом на Бартрамс-Корт в тот день, когда ему случилось туда зайти: это шутовское замечание встревожило меня гораздо больше, чем он мог бы себе представить. От меня также требовали сообщить дату и место моего рождения – о последнем я могла лишь написать «в сельской местности близ Кембриджа». Следовало сообщить и о том, имеются ли у меня сестры «или другие ныне живущие близкие родственники женского пола», на что я ответила, что – насколько мне известно – таковых у меня нет. В ответ я получила записку от мистера Монтегю, что через несколько дней он собирается в Лондон и хотел бы посетить меня в любое

удобное для меня время «по поводу завещания». Из того, как было составлено объявление в газете, мой дядя заключил, что наследство, должно быть, оставлено мне кем-то из родственников по материнской линии, но ничего более сказать не мог: история семьи его никогда не интересовала. Скорее всего, предупреждал он меня, это окажется небольшая сумма денег или несколько полурассыпавшихся предметов обстановки, завещанных моей матери забытой тетушкой или кузиной. Но перспектива получения наследства снова пробудила во мне детскую фантазию о том, что с моим рождением связана некая тайна. Я никогда не упоминала об этом дяде и почувствовала тайное облегчение, когда он отказался присутствовать на моей беседе с поверенным, сказав, что это мое личное дело, раз я теперь достигла совершеннолетия, а его всегда можно вызвать из мастерской, ежели в этом окажется надобность.

Мистер Монтегю явился повидать меня в морозное январское утро; я стояла у окна, когда Дора провела его в гостиную, и он остановился у закрывшейся за ним двери, словно его поразило что-то в моей внешности. Он был высок и сухощав, слегка сутулился; седеющие волосы над висками заметно поредели. Лицо его – то ли от страданий, то ли от болезни – было изрезано морщинами; кожа имела сероватый оттенок, а под глазами темнели круги – словно от ушиба. Судя по виду, лет ему могло быть и пятьдесят, и семьдесят, и все же в нем ощущалась какая-то робость, даже вроде бы страх, когда я протянула ему руку – его ладонь была холодна как лед – и пригласила его сесть в кресло у камина.

– Мне хотелось бы знать, мисс Лэнгтон, – начал он, – говорит ли вам что-нибудь имя Роксфорд? – Голос у него был низкий, приятный, речь – человека культурного и образованного; он слегка раскатывал «р», как это свойственно северянам.

– Совершенно ничего, сэ, – ответила я.

– Понятно.

С минуту он молча глядел на меня, потом кивнул, будто бы самому себе что-то подтверждая.

– Очень хорошо. Я здесь, мисс Лэнгтон, потому что моя клиентка мисс Огаста Роксфорд несколько месяцев тому назад скончалась, оставив все свое состояние «ближайшей ныне живущей родственнице». И, приходя к заключению –

извините меня, пожалуйста, – что вы есть действительно Констанс Мэри Лэнгтон, внучка Марии Лавелл и Уильяма Ллойда Прайса по линии вашей покойной матушки, я должен вам сообщить, что вы являетесь единственным получателем завещанного Огастой Роксфорд имущества и единственной наследницей поместья Роксфорд-Холл.

Он произнес эти слова таким тоном, будто собирался сообщить мне о каком-то тяжелом несчастье.

– Поместье состоит из заброшенного замка – очень большого, но совершенно непригодного для жилья, окруженного несколькими сотнями акров лесных угодий, близ побережья в Саффолке. Владение тяжело обременено долгами и в лучшем случае может дать две тысячи фунтов, после того как будут удовлетворены кредиторы.

– Две тысячи фунтов! – воскликнула я.

– Я должен предупредить вас, – сказал он тем же обеспокоенным тоном, – что будет не так уж легко найти покупателя. У Роксфорд-Холла весьма мрачная история... Но прежде чем мы подойдем к этому, я обязан задать вам некоторые вопросы – хотя, признаюсь вам, мисс Лэнгтон, что мне достаточно лишь взглянуть на вас... сходство совершенно поразительное...

Он вдруг смолк, будто шокированный вырвавшимися у него словами.

– Сходство?.. – напомнила я ему.

– Извините меня, это всего лишь... Могу я спросить, мисс Лэнгтон, вы пошли в вашу матушку? Внешностью, я имею в виду?

– Нет, сэр. Моя мать была едва пяти футов ростом и... я не думаю, что польщу ей, если скажу, что на нее похожа. А могу ли я, в свою очередь, спросить вас, как случилось, что вы вообще узнали о моем существовании?

– Из сообщения в «Таймсе» о смерти вашей матери. Мисс Роксфорд давно дала мне инструкции разыскать ее родственников по женской линии; это оказалось трудной задачей, потребовавшей много времени. Я добрался до сообщения о

бракосочетании ваших родителей, но после этого след вашей семьи простыл, и сравнительно недавно мой секретарь, каждое утро просматривающий все газеты, принес мне это сообщение о смерти. Но тогда я не имел права обратиться к вам. Мисс Роксфорд полагала, что большие ожидания портят характер; и, разумеется, пока она была жива, всегда существовала возможность, что она изменит свою волю. А к тому времени, как она скончалась, ваш дом несколько раз сменил хозяев – поэтому и появилось наше объявление.

Он смолк и с минуту глядел в огонь камина.

– Вы сообщили в вашем письме, – начал он снова, – что родились где-то близ Кембриджа, но не знаете, где именно?

– Да, сэр.

– И у вас нет письменного свидетельства о вашем рождении?

– Боюсь, что нет, сэр. Оно может находиться среди бумаг моего отца, у тетушки, в Кембридже.

– Возможно, его вообще не существует; в регистрационных книгах в Сомерсет-Хаусе[4 - Сомерсет-Хаус (в Лондоне) – Служба регистрации актов гражданского состояния.] нет об этом записи... но тогда было не обязательно, – добавил он, увидев изменившееся выражение моего лица, – уведомлять Генерального регистратора, так что вам не следует беспокоиться на сей счет.

И снова он умолк, всматриваясь в мое лицо, кажется сам того не замечая. Несмотря на его слова о сходстве – а может быть, именно из-за них, – меня при каждом новом вопросе все больше одолевали опасения. Не подозревает ли он – а может быть, даже располагает какими-то свидетельствами, – что я не дочь моих родителей? Следует ли мне рассказать ему о моих собственных подозрениях? Я могла потерять наследство, заговорив откровенно, но смолчать было бы, разумеется, дурно, может быть, даже преступно. Мои мысли были прерваны Дорой, постучавшей в дверь и внесшей поднос с чаем, так что следующие несколько минут мне пришлось занимать гостя натужным пустым разговором о том о сем, одновременно решая, что же мне следует делать.

– Сэр, прежде чем вы продолжите, – сказала я, как только за Дорой закрылась дверь, – я думаю, мне следует сказать вам... Мне порой приходило в голову, что я могла быть приемной дочерью, найденышем. Мои... мои родители никогда не говорили мне об этом, но это объяснило бы некоторые... некоторые вещи, касающиеся моего детства. А если я не являюсь их родным по крови ребенком, то...

Я не договорила, встревоженная реакцией мистера Монтегю. Лицо его стало совершенно белым, чашка в дрожащей руке так сильно зазвенела о блюдец, что ему пришлось тут же поставить ее обратно.

– Простите меня, мисс Лэнгтон, – минутная дурнота. Вы хотели бы рассказать мне, как вы пришли к такому заключению? Как подумали о такой возможности, я хочу спросить?

Тут я принялась рассказывать ему о смерти Элмы, о страшном упадке духа моей матери, о моих прогулках с Энни у Приюта для найденышей и об абсолютном равнодушии отца, ни словом не упоминая о сеансах. И все это время меня не оставлял вопрос: что же могло так потрясти мистера Монтегю? Хотя огонь, пылавший в камине, едва преграждал доступ холоду, я заметила, что лоб мистера Монтегю покрылся тонкой пленкой испарины, и он то и дело морщился, словно от приступов боли, хотя всячески старался это скрыть. Он задавал мне множество вопросов, на большую часть которых я была совершенно не способна ответить, о том, как жили мои родители до их вступления в брак: я даже не знала, где или как они встретились; я не знала источника доходов моего отца; не могла ответить и на вопрос о том, остались ли у меня какие-либо воспоминания о времени до нашего переезда в Лондон.

– Никаких, сэр. Во всяком случае, таких, в которых я могу быть уверена.

– Я понимаю... Позвольте мне сразу же сказать вам, мисс Лэнгтон, что, даже если ваши подозрения подтвердились бы, завещание осталось бы в силе. По закону вы являетесь законнорожденной дочерью вашей матушки, и это все, чего требует закон. И помимо всего...

– Мистер Монтегю, – осмелилась я заговорить, поскольку он не сразу продолжил, – вы упомянули о сходстве... И дали понять – во всяком случае так подсказывает мне сердце, – что вы знаете о чем-то, что может касаться моих

подозрений о моем рождении. Вы не расскажете мне об этом?

Он все молчал, словно погрузившись в мысленный спор с самим собой, переводя взгляд с меня на огонь камина и снова на меня. Бледный свет серого дня косо падал в окно; капли воды, словно слезы, скатывались по холодному стеклу на подоконник.

– Мисс Лэнгтон, – произнес он наконец, – уверяю вас, я ничего не знаю о вашей жизни, кроме того, что вы сами мне рассказали. То, что подсказывает вам сердце, всего лишь самая невероятная из моих фантазий. Нет, самое лучшее, что я могу вам посоветовать, – это продать поместье не глядя, с удовольствием воспользоваться средствами, которые оно вам принесет, и позволить имени Роксфорд навсегда исчезнуть из памяти.

– Но как же я могу быть уверена в том, что это так, – настаивала я, осмелев при виде его замешательства, – если вы не желаете ничего сказать мне о своих подозрениях... или о той, на кого, по вашему мнению, я так похожа?

Казалось, мои слова поразили его гораздо больше, чем я могла ожидать: он снова предпочел общаться с пламенем в камине.

– Должен признаться, мисс Лэнгтон, – сказал он после долгого молчания, – что я не знаю, как вам ответить. Вам придется дать мне некоторое время поразмыслить: я напишу вам в течение этой недели.

Вскоре после этого он распрощался.

Мой дядя, естественно, был совершенно поражен этой новостью, однако имя Роксфорд ни о чем ему не говорило, кроме, пожалуй, смутных ассоциаций с каким-то давним то ли преступлением, то ли скандалом. Погода по-прежнему стояла страшно холодная, улицы покрывала замерзшая слякоть, а часы тянулись за часами в бесконечных бесплодных размышлениях, пока наконец, на четвертый день после визита мистера Монтегю, мне не доставили заказной почтой надежно упакованную посылку. В ней содержался другой пакет, также запечатанный, короткое письмо от мистера Монтегю и генеалогическая карта Роксфордов, выполненная той же рукой, тем же мелким, четким почерком.

20 янв. 1889 г.

Дорогая мисс Лэнгтон,

Вы доверили мне свою тайну, и я пришел к решению доверить Вам свою. Я запечатал этот пакет почти двадцать лет тому назад и с тех пор его так и не открывал. Как Вы увидите, я передаю в Ваши руки свое доброе имя, но понимаю, что для меня это уже не имеет большого значения. Очень скоро я предполагаю удалиться от дел, и если кто-то и имеет право на эти бумаги, то это Вы. Когда Вы их прочтете, Вы поймете, почему я говорю Вам: продайте Холл не глядя или, если пожелаете, сожгите дотла и запашите землю, на которой он стоял, засеяв ее солью, но никогда не живите в нем.

С самыми искренними чувствами,

Ваш Джон Монтегю.

Часть вторая

Рассказ Джона Монтегю

30 декабря 1870 г.

Я наконец решил записать все, что мне известно о странных и страшных событиях, происшедших в Роксфорд-Холле, в надежде облегчить угрызения совести, которые не перестают меня терзать. Ночь сегодня вполне подходящая для такого решения, так как стоит жестокий холод и ветер завывает вокруг дома, словно не успокоится вовек. Я содрогаюсь оттого, что должен откровенно рассказать о себе, но, если кому-нибудь суждено понять, почему я поступал так, как поступал, – а зачем же иначе пытаться писать об этом? – я не должен утаивать ничего из того, что имеет к сему отношение, какую бы боль это мне ни причиняло. Я верю, что на душе у меня станет легче, ежели буду знать, что – если это дело снова будет открыто после того, как меня не станет, – это повествование поможет выявить истину о Тайне Роксфорда.

Впервые я встретился с Магнусом Роксфордом весной 1866 года – мне тогда было тридцать лет – в качестве поверенного в делах его дяди Корнелиуса: я унаследовал обязанность управлять его делами от своего отца. Наша фирма была небольшим семейным делом в городе Олдебурге, и я следовал по стопам своего отца, как он в свое время следовал по стопам своего. Как всякий мальчик, выросший в той части Саффолка, я слышал рассказы о Роксфорд-Холле – поместье, расположенном в самом сердце Монашьего леса, примерно в семи милях к югу от Олдебурга по прямой, но гораздо дальше, если ехать по дорогам. Старый Корнелиус Роксфорд, насколько помнили жители округи, долгие годы жил там в полном уединении, с горсткой слуг, по всей видимости подобранных за неразговорчивость, так как казалось, что другими качествами, которые могли бы их хорошо рекомендовать, никто из них похвастать не мог. Дом у него на глазах медленно приходил в упадок, дикая природа все более захватывала парк. Даже браконьеры не отваживались забираться в те места, ибо ходили слухи, что в Монашьем лесу бродит призрак – как и следовало ожидать, призрак монаха; по местной легенде, всякий, кому явится это видение, умрет в течение месяца после встречи с ним. Кроме того, говорили, что Корнелиус держит свору собак, столь злобных, что они разорвут человека в клочки, если его поймают. Некоторые утверждали, что старый скряга сторожит невероятных размеров клад золота и драгоценных камней; другие – что он продал свою душу дьяволу в обмен на способность летать, или на плащ-невидимку, или еще на какой-нибудь такой же дьявольский атрибут. А еще был в нашей округе браконьер Уильям Brent, который похвалялся, что может охотиться так близко от Роксфорд-Холла, как ему заблагорассудится, не навлекая на себя собак; так было до той ночи, когда он увидел зловещее лицо, взирающее на него из верхнего окна замка: и месяца не прошло, как он умер; правда – от плеврита, но все равно... Отец мой высмеивал эти слухи, но не мог пролить свет на происходящее, поскольку встречался с Корнелиусом лишь один раз, у себя в конторе, за несколько лет до моего рождения. Уже тогда, говорил он, Корнелиус выглядел стариком: маленький, сморщенный, полный подозрений. Все их дела после этой встречи велись посредством переписки.

Становясь старше, я все больше узнавал от отца об истории Роксфорд-Холла. Замок был построен во времена Генриха Восьмого, на месте монастыря, который и дал имя Монашьему лесу. Роксфорды, как многие католические семьи, во времена королевы Елизаветы отказались от своего вероисповедания; во время Гражданской войны[5 - Имеется в виду гражданская война периода Английской революции 1649 г., когда был свергнут и обезглавлен король Карл I Стюарт.]

Роксфорд-Холл служил оплотом роялистских сил. Говорили, что здесь, в «убежище священника»[6 - «Убежище священника» – тайник в доме, где во времена преследования католиков прятали католических священников.], скрывался сам Карл Второй, в то время как Генри Роксфорд отбивался от солдат Кромвеля. Во время Реставрации Генри Роксфорд был удостоен рыцарского звания, но дворянский титул умер вместе с ним, поскольку был дарован пожизненно, и в последующие сто с чем-то лет Роксфорд-Холл служил местом летнего отдыха для нескольких поколений Роксфордов, главным образом ученых и духовных лиц, которые, как представляется, ничем особенным не прославились.

В 1780-х годах поместье перешло в руки некоего Томаса Роксфорда, человека более грандиозных устремлений, недавно женившегося на богатой наследнице. Он немедленно приступил к расширению дома и прилегающего участка, имея в виду устраивать здесь грандиозные приемы. Он не желал слышать предостережения об отдаленности и труднодоступности поместья. Он истратил значительную часть средств своей жены, как и своих собственных, на этот проект, но грандиозные приемы так никогда и не состоялись: приглашения вежливо отклонялись, и заново обставленные комнаты пустовали. А потом, примерно в 1795 году, его единственный сын Феликс погиб в возрасте десяти лет, упав с галереи, идущей над Большим залом.

Жена Томаса Роксфорда вскоре после этой трагедии оставила его и вернулась к своим родственникам. Он сам прожил в Роксфорд-Холле еще тридцать лет, когда однажды утром в 1820 году его дворецкий, принеся ему в обычное время горячую воду, обнаружил, что хозяина нет. Постель была не тронута – хозяин в ней явно не спал, следов борьбы или иной какой неприятности нигде не было видно, все наружные двери и окна были на запоре – как всегда. Единственной недостающей вещью оказалась ночная сорочка, в которой был хозяин, когда слуга видел его в последний раз – накануне вечером. Дом и прилегающий участок были тщательно обысканы, но тщетно: Томас Роксфорд исчез с лица земли, и след его так никогда и не был найден.

Все пришли к выводу, что ум старика окончательно ослабел и что он каким-то образом выбрался из дому прямо в ночной сорочке и забрел в Монаший лес, где провалился в копь. Многие века тому назад в здешней местности добывали олово, и некоторые давние разработки так и остались, прикрытые лишь папоротниками и палой листвой, – настоящие ловушки для людей неосмотрительных. Через год и один день после исчезновения Томаса Корнелиус

Роксфорд, его племянник и единственный наследник, подал петицию в суд графства о признании Томаса Роксфорда скончавшимся и вынесении соответствующего постановления. Такое постановление было ему выдано без особых затруднений. Так Корнелиус Роксфорд, затворник, холостяк, ученый, ушел из ученого совета Кембриджского университета и вступил во владение Роксфорд-Холлом. Вот все, что мой отец мог рассказать мне, кроме того, что за годы владения Холлом Корнелиус мало-помалу распродал земли, с которых поместье когда-то получало доходы, оставив себе лишь Монаший лес и сам Холл с прилегающим участком.

Мальчишкой я много счастливых часов проводил, придумывая с друзьями самые разные способы, как пробраться сквозь лес, избежав встречи с собаками, и прокрасться в замок через потайной ход, который – как говорили – идет из замка в заброшенную часовню, что стоит в лесу неподалеку от него. Ни один из нас не мог похвастаться, что видел Монаший лес иначе как издали, так что наша фантазия витала свободно, где и как нам было угодно. Ужасы, которые мы тогда рисовали в своем воображении, потом преследовали меня во сне многие годы. Планы наши, разумеется, ни к чему не привели: меня отправили в школу, где пришлось переносить обычные жестокости, пока смерть моей дорогой матушки не вызвала такое потрясение, что некоторое время не столь значительные муки оставляли меня совершенно к ним нечувствительным.

Мне представляется, что именно тогда я стал находить утешение в рисовании эскизов, в работе над этюдами, к чему у меня были природные способности, но я никогда не придавал этому серьезного значения и практически почти не обучался. Моей сильной стороной были природные пейзажи, чем естественнее, тем лучше, – с домами, замками, руинами. Что-то во мне пробивалось к свету, но казалось, это что-то не имело никакого отношения к моему предназначению – изучать юриспруденцию в колледже «Корпус Кристи», старом колледже моего отца в Кембридже. Что я должным образом и сделал; и там, на втором курсе, я познакомился с молодым человеком по имени Артур Уилмот. Он изучал классические языки и литературу, но его истинной страстью была живопись, и благодаря ему я открыл для себя новый мир, о котором совершенно ничего не знал. Это в его обществе, в Лондоне, я впервые увидел работы Тернера[7 - Джозеф Мэллорд Уильям Тернер (1775–1851) – английский художник-пейзажист, совершивший революцию в английской живописи в передаче света и цвета. Считается предшественником импрессионистов.] и почувствовал, что наконец понял строки Китса[8 - Джон Китс (1795–1821) – один из крупнейших поэтов

английского романтизма.] об отважном Кортесе, вззирающем на океан в догадках дерзких[9 - Имеется в виду сонет Китса «Впервые читая чапменовский перевод Гомера». Однако в сонете не Кортес взирает на океан «в догадках дерзких», а его матросы так глядят на Кортеса, вззирающего на океан. Джордж Чапмен (ок. 1559–1634) – английский поэт, драматург и переводчик; его переводы Гомера вошли и историю англоязычной поэзии.]. В те долгие каникулы мы провели три недели в горах на северо-западе Шотландии, работая над этюдами и зарисовками, и благодаря поддержке Артура я начинал верить, что, может статься, мое будущее – мастерская художника, а не контора поверенного.

Артур был примерно моего роста, но очень изящно сложен, с тонкими чертами и нежным цветом лица – такая кожа быстро обгорает на солнце. Однако впечатление хрупкости оказалось обманчивым, как я обнаружил в первый же наш день в Шотландии, когда он с козым проворством легко взбирался по склону, тогда как я следовал за ним, пыхтя и отдуваясь. Он много рассказывал мне про Садовый Дом, – по его словам, это истинная Аркадия; дом и сад расположены близ Эйлсбери, где его отец-священник имеет приход. Но особенно много говорил он о своей сестре Фиби, которая явно была ему очень дорога, и он начинал волноваться, если день или два не получал от нее письма. К концу нашего путешествия было решено, что, вместо того чтобы вернуться в Олдебург, я отправлюсь вместе с ним к нему домой и проведу там хотя бы две недели. У меня самого не было ни братьев, ни сестер: моя матушка тяжело болела после моего рождения, и я понимал, что отец с нетерпением ждет моего возвращения. Но мне не хотелось разочаровывать Артура... или так я объяснял свое решение самому себе в порядке оправдания.

Садовый Дом не просто соответствовал всем обещаниям Артура – он был гораздо лучше: широко раскинувшийся под соломенной крышей, он блистал белоснежной штукатуркой и стоял, как и предсказывало его название, посреди целого леса деревьев – яблонь и груш. Отец Артура, седовласый, румяный, доброжелательный, мог бы сойти прямо с полотна Биркета Фостера[10 - Майлз Биркет Фостер (1825–1899) – английский художник, мастер акварельных пейзажей.] (хотя тогда я этого не увидел), как могла бы и его мать, спокойная, стройная, с тонкими чертами лица, хрупкая женщина, – было сразу видно, откуда у Артура такая внешность; ее всегда можно было найти в саду, если у нее не было других занятий. И конечно, там была Фиби. Она была красива – да! – с классическим профилем ее матери и стройной фигурой, с густыми блестящими волосами цвета темного меда; а глаза у нее были карие, и веки всегда чуть опущены, хотя она была совершенно лишена всякого кокетства. Но меня прежде всего очаровал ее голос: низкий и звучный, чуть вибрирующий, в нем будто

всегда звучала какая-то мелодия, какой-то напевный полутон, что, казалось, наполняло чувством любое, даже самое банальное ее высказывание.

Моя любовь к Фиби не осталась без ответа: довольно скоро я получил ее обещание выйти за меня замуж, хотя согласие родителей на нашу помолвку заставило себя ждать значительно дольше. Я отказался от мечты голодать в мансардах и принялся с усердием изучать юриспруденцию, понимая, что чем скорее я получу профессию, тем скорее мы сможем пожениться. Помимо мучений, которые приносила мне тоска по Фиби, пока я жил вдали от нее, то испытывая подъем духа от восторга, то опускаясь в пучины страха при мысли, что она вдруг изменит свое решение, еще одной тучей на нашем горизонте был вопрос о том, где мы станем жить. Я проходил юридическую практику, работая клерком в конторе моего отца в Олдебурге; если бы я бросил семейную фирму, я разбил бы его сердце; помимо того, это, скорее всего, привело бы к моему с ним невосстановимому разрыву. Но остаться работать у отца означало бы оторвать Фиби от того, что она любила более всего на свете. Фиби и мой отец пытались – ради меня – понравиться друг другу, но оба не очень хорошо представляли себе, как к этому подступиться. А еще я знал: она находит, что наш дом – очень просто обставленный, одноэтажный, над самым берегом – мрачен и стоит на семи ветрах.

В конце концов мы пришли к нелегкому компромиссу: мы станем жить в Олдебурге, но в нашем отдельном доме, где-нибудь подальше от звучания морских волн, которое казалось Фиби, по ее неохотному признанию, меланхоличным и гнетущим. Я не однажды заставлял ее бормочущей, почти не сознавая того: «Бейся, все бейся и бейся о холодные серые камни, / О море...»^[11] – Строка из стихотворения знаменитого английского поэта Алфреда Теннисона (1809–1892) «Бейся, бейся, море».] И мы предполагали проводить столько времени в Садовом Доме, сколько позволят дела в конторе.

Три долгих года спустя, весной 1859 года, мы поженились; мне было всего двадцать три года, а Фиби на год меньше. Часть нашего медового месяца мы провели в Девоне; я-то хотел повезти Фиби в Рим, но ее родителей беспокоила такая поездка, и они опасались болезней. Те дни и ночи, что мы были с нею вдвоем, совершенно одни, казались мне тогда счастливейшими в моей жизни, однако к концу второй недели она стала тосковать по Садовому Дому; туда мы и возвратились, к вящей радости ее родителей, и жили там, пока не настало время начинать нашу жизнь в Олдебурге.

Я снял коттедж в живописном месте близ Олдрингэм-роуд, примерно в миле от дома моего отца и, разумеется, как можно дальше от звука разбивающихся о гальку волн, но место было довольно глухое, так что Фиби целый день приходилось оставаться с одной только экономкой – доброй женщиной, но никак не собеседницей. Буквально через несколько недель после нашего переезда мы поняли, что Фиби ждет ребенка: это была большая радость, однако омраченная все возраставшей тоской Фиби по дому, которую она тщетно пыталась скрыть. Артур приезжал к нам пожить некоторое время; в каком-то смысле это было большим облегчением, однако его пребывание тоже омрачала некая тень – он явно считал, что с моей стороны жестоко удерживать Фиби вдали от ее родителей. Так что мы решили, что последние месяцы ожидания ребенка она проведет в Садовом Доме, ни на миг не представляя себе, что это будут последние месяцы ее жизни. Я отказался от аренды коттеджа и вернулся в дом отца, окончательно решив покинуть фирму и искать места в Эйлсбери, как только родится наш ребенок. Однако мой отец так радовался тому, что я снова дома, что я не мог заставить себя сказать ему о своем решении, и так все оно и оставалось, пока, как-то поздним зимним вечером, мне не принесли телеграмму, призывающую меня приехать немедленно. Роды у Фиби начались преждевременно и продолжались всю ночь; она все слабела и слабела, пока наконец не послали за хирургом. Она умерла, а с нею и наш сын, за час до моего приезда.

Нет смысла подробно рассказывать о беспредельном горе или о его страшных последствиях: это говорится коротко. Я оставался в Садовом Доме еще неделю после похорон Фиби, пока никем не высказанная вслух мысль о том, что, если бы я никогда не переступал порог этого дома... не стала причинять слишком много боли. Через пять месяцев, в августе того же года, Артур отправился лазить по скалам в горах Уэльса и погиб, сорвавшись с утеса.

Поездка в Эйлсбери на похороны была для меня тяжелейшим испытанием. Бессмысленно было бы говорить его родителям – горе так изменило обоих, что их трудно было узнать, – что я готов был бы отрезать свою правую руку, готов был бы сам умереть: это ведь не вернуло бы ни Фиби, ни Артура и не дало бы ответа на вопросы, нависшие, словно мечи, над нашими головами. Почему Артуру, посреди глубокого траура, вдруг взбрело в голову покинуть родителей и отправиться лазить по горам? Его сотоварищи клялись, что он поскользнулся, обследуя склон скалы, но я разглядел и в них следы собственных подозрений: то есть что, независимо от того, решил Артур добровольно покончить счеты с жизнью или нет, он предпринял этот роковой подъем, вовсе не заботясь о том, останется ли он в живых.

В последовавшей затем долгой непроглядной тьме мысль о том, чтобы уйти из жизни, неотступно следовала за мной по пятам. Я не мог бриться по утрам без того, чтобы не испытывать желания провести лезвием по собственному горлу. Пистолеты манили меня с оружейных прилавков, яды – с аптечных полок, к тому же всегда рядом был шум моря, и в своем воображении я видел себя плывущим прочь от берега в ледяную глубину, пока силы меня не покинут и я не скроюсь под волнами. Однако мысль о том, как это подействует на моего отца, – ведь воспоминание об измученных лицах Уилмотов преследовало меня повсюду, – всегда удерживала меня от рокового шага; эта мысль и еще, как говорил Гамлет, боязнь того, что ждет нас после смерти: эти строки часто возникали в моей памяти. Со временем я стал осознавать, каким тяжким грузом ложится зрелище моего горя на плечи отца, и постепенно начал подниматься из черноты ночи в серый свет сумерек духа. Я вернулся на свое место в конторе и стал, почти того не желая, обращать внимание на окружающий меня мир, а потом принялся рисовать – поначалу только карандашные наброски, пока вдруг не обнаружил, что стал забредать все дальше и дальше в поисках новых сюжетов. Но жизнь моя – как я полагал тогда – была на самом деле окончена, и минуло еще четыре года, прежде чем могло случиться что-то такое, что поколебало это меланхолическое убеждение.

Вероятно, это всего лишь результат неизгладимого впечатления, оставленного историей Питера Граймза из «Местечка» [12 - «Местечко» (1810) – поэма в 24 «письмах» известного английского поэта Джорджа Крабба (1754–1832), подробно описывающая жизнь в г. Олдебурге.], но я заметил, что многие приезжие ощущают что-то гнетущее, даже зловещее, в сельской местности к югу от Олдебурга, куда меня особенно тянуло, может быть, именно по этой причине. Средневековая башня у Орфорда, особенно когда она вырисовывалась на фоне закатного неба, была одним из моих любимых сюжетов. А от Орфорда оставалось всего каких-нибудь три мили по пустынной болотистой местности до края Монашьего леса. Здесь можно сколько угодно ходить, не встречая ни души, и вас будут сопровождать лишь крики морских птиц да изредка видимое вдали серое, беспокойное море. Из-за капризов ландшафта лес остается невидим до тех пор, пока вы не взберетесь на небольшой взлобок и не обнаружите, что путь вам преграждает бескрайнее пространство темной листвы. Однажды в холодный весенний день 1864 года я стоял, вглядываясь в эту панораму и задаваясь вопросом, действительно ли собаки так свирепы, как я был убежден в детстве, когда вдруг мне пришло в голову, что теперь у меня имеются вполне законные основания посетить Роксфорд-Холл.

Я сумел уговорить отца, чтобы он написал Корнелиусу Роксфорду, от которого мы не имели вестей уже несколько лет, представив меня как нового совладельца своей фирмы и попросив о встрече. Через неделю пришел ответ: мистер Роксфорд пока еще намеревается продолжать вести дела с нашей фирмой, но не видит необходимости в какой-либо встрече. Насколько это касалось отца, вопрос тем самым был исчерпан. Но мое бывшее любопытство пробудилось, и я принялся наводить справки. У меня завелся приятель по браконьерской линии – человек, которого я как-то застал на месте преступления (я вышел на этюды ранним утром), и я его не выдал, – так что в тихом уголке пивного зала гостиницы «Белый лев» я выяснил, что большая часть внешней стены парка теперь обрушилась, что несколько оставшихся в живых собак содержатся на цепи у старой конюшни позади замка. Лесник, который теперь стал в основном конюхом и кучером, частенько запивает и редко отваживается выходить из дому по ночам, во всяком случае так говорили моему осведомителю; тем не менее, сообщил он мне, браконьерское братство по-прежнему обходит Холл стороной, во всяком случае после наступления темноты.

В тот вечер луна была почти полной, и, после того как я ушел из «Белого льва», я долго стоял на берегу, наблюдая игру света на воде. Я думал, что никогда больше не смогу слушать, как волны разбиваются о прибрежную гальку, без того чтобы не мучиться от горя и сожалений, но время притупило их остроту, и строки, которые теперь приходили мне на память, были не «Бейся, все бейся и бейся...», но «Меч более вечен, чем ножны, душа долговечней, чем грудь...»[13 - Строка из второй строфы стихотворения Джорджа Гордона Байрона (1788-1824) «Больше нам не плыть на лодке...»]. Ночь обещала быть мягкой и ясной, и мне пришло в голову, пока я стоял там, что это будет интересное упражнение – сделать набросок Холла при лунном свете. В делах было затишье, а отец всегда радовался, если мог предоставить мне отпуск для моих занятий этюдами, так что я отправился туда на следующий же день.

Почти сразу после полудня я уже стоял на вершине взлобка, откуда открывался вид на Монаший лес. Оттуда я направился к северу вдоль края леса, пока не достиг изрытой колеями дороги, и тут вошел под его зеленый полог. Через несколько минут я миновал два полуразрушенных каменных столба, отмечавшие границу владения. Дубы, которыми когда-то славился лес, значительно потеснили ели, росшие очень близко друг к другу, так что затмевали свет. Войдя в лес поглубже, я вдруг осознал, что всегдашний птичий щебет стал казаться каким-то странно приглушенным, и, если где-то и была какая-то живность, она

явно старалась не попадаться на глаза. Убежденность, что я свернул куда-то не туда, все возрастала, когда – совершенно неожиданно – тропа обогнула ствол гигантского дуба и вывела меня к свободному пространству, поросшему высокой травой и чертополохом: когда-то здесь явно была лужайка. На дальней стороне поляны, ярдах этак в пятидесяти от меня, высился большой дом в елизаветинском стиле, с зеленовато-коричневыми стенами, пересеченными почерневшими балками и увенчанными множеством фронтонов. Солнце уже опускалось к верхушкам деревьев слева от меня.

Тропа шла дальше, через травяные заросли к главному входу, с одним ответвлением, ведущим от меня влево, к полуразрушенному коттеджу – по всей вероятности, жилищу лесника. За этим жилищем виднелся ряд дряхлых строений, полускрытых наступающими деревьями; а еще дальше за ними, сквозь зелень, можно было разглядеть каменную кладку и крутой скат крыши – по-видимому, часовни. Отец рассказывал мне, что Роксфорд-Холл когда-то был окружен парком, занимавшим несколько акров, но лес поглотил все, кроме самого замка и непосредственно прилегающего к нему участка земли. Кругом не было ни малейшего признака жизни, все застыло в молчании.

Я обратил все свое внимание на большой дом. Признаки длительного небрежения были легко различимы даже на таком расстоянии: просевшие балки, иззубренные трещины в штукатурке, местами, прямо у стены, – дико разросшаяся крапива и поросль молодых деревьев. Все ставни были закрыты, если не считать ряда высоких окон – явно более позднего нововведения, – тянувшихся вдоль второго этажа, которые, как представлялось, находились примерно в тридцати футах над землей. Мне пришло в голову, что это могут быть окна той самой галереи, с которой семьдесят лет тому назад упал мальчик – Феликс Роксфорд. Ставни на окнах третьего этажа были значительно меньше, а над ними выступал верхний этаж, как бы отдельными мансардами: каждая со своим фронтоном, и все – на разных уровнях. На ярком предзакатном небе силуэтами вырисовывались осыпающиеся дымовые трубы – целая дюжина или около того, и над каждой трубой торчало что-то, как мне показалось, вроде почерневшего копья, нацеленного в небеса. Это были громоотводы – и это был мой первый взгляд на странное пристрастие семейства Роксфорд.

Трудно теперь отделить мои первые впечатления от знания того, что происходило потом. Я был полон страха и в то же время чувствовал радостный подъем духа: моя привычная меланхолия исчезла, словно дымок под ветром.

Дом казался неестественно ярким в предвечернем свете, словно из мира бодрствования я вступил в мир сна, в котором сознавал, что мне предназначено быть здесь и более нигде. Я прислонился спиной к стволу гигантского дуба, достал этюдник и коробку с красками и поспешил как можно лучше использовать последние мгновения дневного света.

Прошел час, вокруг все еще не было ни малейшего признака жизни; я подумал – да не были ли эти собаки всего лишь плодом воображения моего приятеля? А может быть, и сам Корнелиус уже умер? Да нет, мы ведь только на прошлой неделе получили от него письмо. Но что мы на самом деле знали о его передвижениях? Он мог закрыть дом и уехать сразу же после того, как написал нам. Или, может быть, у него есть какое-то еще, более скромное жилище в другой части леса... Мало-помалу сумерки сгущались, и скоро я уже не мог отличить один цвет от другого. Я отложил свои материалы в сторонку и съел принесенную с собою еду; тем временем очертания крыши и труб с призрачными ветвями громоотводов таяли с последними отблесками вечерней зари, пока Холл не превратился в непонятную темную глыбу, сгорбившуюся на фоне еще более темного леса.

Пробившееся сквозь листву позади меня бледное сияние возвестило о восходе луны, и я увидел, что для того, чтобы свет ее падал мне на бумагу, мне придется выйти на открытое место. Убежденный к этому моменту, что поместье покинуто, я собрал свои вещи и осторожно двинулся вперед при свете звезд. Ярдах в тридцати от дома я споткнулся об остатки низкой каменной ограды, где и устроился с этюдником и карандашами. Воздух был тих, но холодноват; откуда-то издали донесся лай лисы, но ответного звука из темноты с противоположной стороны так и не последовало.

С каждой минутой поляна светлела; казалось, Холл медленно, дюйм за дюймом, возникает из тьмы. По мере того как луна поднималась все выше, пропорции дома будто бы менялись, пока мне не стало казаться, что он грозно навис над мной, словно отвесная стена, готовая вот-вот обрушиться. Я наклонился взять этюдник и, когда выпрямлялся, увидел, что в окне прямо над главным входом засветился огонек. Желтый колеблющийся отблеск двинулся оттуда влево, переходя от одного окна к другому, пока не достиг самого дальнего, а затем стал медленно возвращаться; пройдя примерно половину пути назад, он остановился и сделался устойчив.

При виде этого огонька все мои детские страхи нахлынули на меня снова, и все же в его зловещем движении я увидел завершение своей картины: увидел, что – если я преодолею свой страх хотя бы ненадолго, затем, чтобы успеть запечатлеть эту сцену в памяти, – я смогу наконец реализовать некое собственное видение, поистине оригинальное, мое. Я принялся лихорадочно работать, хотя у меня мороз по коже подирал от ожидания, что вот-вот в окне появится зловещее лицо... или раздастся оклик... или выстрел – сигнал, что меня обнаружили. Свет сиял в окне ровно, лишь время от времени колеблясь, будто кто-то проходил близко от лампы, потому что ведь не было ни малейшего ветерка. Это старый Корнелиус, говорил я себе, он обходит свои владения; пока его лампа горит, он не сможет меня увидеть. Казалось, во мне живут сразу два человека: один пребывает в ужасе от моей глупой затеи, а другой безразличен ко всему, кроме поставленной перед собой задачи.

Примерно в полночь, когда луна достигла своей высшей точки, я сделал все, что мог. Огонь все горел в окне; я собрал вещи и отошел под сень деревьев. Я принес с собой фонарь, но зажечь его означало бы выдать свое присутствие тому, кто – или что, – возможно, бродит в этот час по Монашьему лесу; так что, проспотыкавшись ярдов сто в почти кромешной тьме, я сошел с тропы, завернулся в теплое пальто и скорчился у подножия огромного дуба. Там я и лежал, прислушиваясь к скрипам и шорохам в гуще зарослей вокруг, к раздававшемуся время от времени уханью совы, то уплывая в полный нелегких видений сон, то просыпаясь. Наконец я совсем проснулся в серых предутренних сумерках.

Следующие пять дней я почти не выходил из мастерской. Я постыдно пренебрегал сыновними обязанностями, но картина не позволяла мне отвлекаться: как только я пытался прилечь, чтобы забыться сном на несколько часов, она всплывала перед моим мысленным взором, маня, настаивая, требуя. Я работал с уверенностью, которой никогда не обладал ранее, но сейчас скорее она обладала мною: я постоянно наталкивался на ограниченность собственных технических навыков и умений, и все же меня вело видение, настолько непреодолимое и повелительное, что, казалось, оно превращает в достоинства даже мои недостатки. Так длилось до того утра, когда я в последний раз отложил палитру и отступил назад, чтобы восхититься тем, что казалось творением кого-то другого, гораздо более одаренного, чем я сам. Это был вид одновременно меланхоличный, зловещий и прекрасный, и в тот долгий миг, что я на него смотрел, я чувствовал себя подобно Творцу вселенной: я смотрел на

свое творение и знал, что оно хорошо.

Мой отец, хотя восхищался картиной, был гораздо более встревожен тем, что меня могут арестовать за нарушение владений, и вытребовал у меня обещание, что я больше не отважусь посетить Роксфорд-Холл без приглашения. Я вполне охотно согласился, уверенный, что теперь, с моим новообретенным талантом, я смогу обратиться к любому избранному мною сюжету. Но мой новый этюд башни у Орфорда выглядел заметно хуже, чем его предшественник; то же произошло и с попытками написать несколько других любимых пейзажей. Что-то оказалось мною утрачено; это отсутствие было вполне ощутимо – словно вырвали зуб – и тем не менее не поддавалось определению: утратилось какое-то загадочное взаимодействие руки и видения, способность, обладания которой я даже не осознавал. Там, где я когда-то просто писал, все становилось неестественным, натужным, натянутым; и чем усерднее я старался преодолеть этот странный барьер, тем хуже был результат. Я подумывал о том, чтобы возвратиться к Холлу, но, помимо данного отцу обещания, меня удерживал суеверный страх, что, если я попытаюсь повторить свой успех, «Роксфорд-Холл в лунном свете» каким-то образом... ну, не растворится у меня на глазах в буквальном смысле, но окажется творением напыщенным и посредственным. Возможно, я и в самом деле обольщался: эта мысль не раз приходила мне в голову, и я ведь не представлял картину на экспертную оценку: я чувствовал, что не могу ее показать из опасения встревожить отца. Но сердце подсказывало мне, что я написал что-то замечательное, хотя и расплатился за это такой ценой, какую вовсе не хотел бы платить.

Затем, в октябре следующего года, все изменила неожиданная смерть моего отца от удара. Теперь я оказался свободен посвятить себя целиком живописи; только вот талант мой меня покинул и, кроме того, продажа практики, как мне казалось, станет предательством по отношению к памяти отца, да и к его доверию мне. Наши клиенты желали, чтобы я продолжал дело; Джосая, наш старый секретарь, ожидал, что так оно и будет... Так что я продолжал работать «еще некоторое время», как я повторял сам себе, не уверенный, совестливость ли или просто трусость удерживает меня в этих оглоблях. Единственным актом неповиновения стало то, что я повесил «Роксфорд-Холл в лунном свете» на стене в конторе (всем, кто задавал мне вопросы, я отвечал, что она сделана со старого меццо-тинто). Там она и красовалась в тот день, когда я впервые встретился с Магнусом Роксфордом.

Я получил от него записку, что ему очень хотелось бы со мною встретиться; почему – он не указал. Я знал из заметок моего отца к документам по Роксфорд-Холлу, что Магнус – сын Сайласа Роксфорда, младшего брата Корнелиуса, который умер еще в 1857 году. В 1858-м Корнелиус сделал новое завещание, оставив «все мое состояние моему племяннику Магнусу Роксфорду, проживающему в Лондоне, по адресу: Манстер-сквер, Риджентс-парк». Из любопытства я написал знакомому в Лондон, спросив, говорит ли ему что-нибудь это имя. «Как ни странно, да, – ответил он. – Он врач, учился в Париже, как я слышал; практикует месмеризм[14 - Месмеризм – система в медицине, предложенная австрийским врачом Францем Антоном Месмером (1734–1815). В основе месмеризма – понятие о «животном магнетизме», посредством которого якобы можно изменять состояние организма, в том числе излечивать болезни.], по поводу которого, как вам известно, существует множество подозрений среди наших признанных медиков. Утверждает, что излечивает, помимо прочих заболеваний, сердечную болезнь с помощью месмерических процедур. Вполне очевидно, что его пациенты – особенно женщины – просто не находят достаточно лестных выражений, отзываясь о нем. Говорят, он совершенно очарователен в личном общении, но состояние его оставляет желать лучшего, что, естественно, лишь усиливает подозрения на его счет».

Не могу толком сказать, чего я, собственно, ждал, но сразу же, как только Магнуса Роксфорда провели ко мне в кабинет, я ощутил, что нахожусь в присутствии превосходящего ума; однако в его манере не было никакой снисходительности. Он был примерно моего роста (чуть ниже шести футов), но шире в плечах, с густыми черными волосами, с небольшой остроконечной, аккуратно подстриженной бородкой. Ладони у него были почти квадратные, с длинными, мощными пальцами и очень коротко обрезанными ногтями; пальцы ничем не украшены, кроме одного тонкого золотого кольца с печаткой с изображением феникса на правой руке. Но внимание прежде всего привлекали его глаза под высоким выпуклым лбом: глубоко сидящие, карие, очень темные и необычайно блестящие. При всей сердечности его приветствий у меня создалось неуютное ощущение, что мои самые сокровенные мысли выставлены на обозрение. Возможно, именно поэтому, когда его взгляд обратился к картине «Роксфорд-Холл в лунном свете», я тотчас же признался в нарушении владений. Но он вовсе не выказал неодобрения, он так горячо восхищался картиной, что я был совершенно обезоружен, тем более что он утверждал, что все извинения должны быть принесены мне.

– Мне очень жаль, – сказал он, – что мой дядюшка так бесцеремонно отказался от встречи с вами. Он, как вы, вероятно, догадываетесь, самый необщительный человек на свете. Меня он выносит лишь потому, что – как он полагает – я смогу помочь ему в его... изысканиях. Но ведь мы с вами, несомненно, встречались, не правда ли? В городе, в академии, в прошлом году, на выставке «Наследие Тернера»? Во всяком случае я уверен, что видел вас там.

Его голос, так же как и его взгляд, был замечательно убедителен; я действительно побывал на той выставке и, хотя не мог припомнить, чтобы я его видел, почти поверил, что мы, должно быть, там встретились. Во всяком случае нас обоих восхитила картина «Дождь, пар, скорость», и мы оба осуждали враждебную реакцию, которую она по-прежнему вызывала в среде узколобых ценителей искусства. Так что мы устроились у камина и беседовали о Тернере и Раскине[15 - Джон Раскин (тж. Рескин; 1819–1900) – поэт, писатель, художник, теоретик искусства; друг Уильяма Тернера.], словно старые друзья, до тех пор, пока Джосая не явился с чаем. Было четыре часа пополудни, день стоял холодный и пасмурный, свет уже угасал.

– Я вижу, мой дядя в ту ночь работал, – произнес Магнус, снова взглянув на картину. – Если только тот зловещий свет в окне не плод вашего собственного вдохновения.

– Нет, там в самом деле горел свет: было страшновато, должен признаться. В наших местах люди твердо верят, что в Холле водятся призраки и что ваш дядюшка некромант, занимается черной магией.

– Боюсь, – откликнулся он, – что в этих рассказах есть доля правды, по крайней мере что касается второго пункта... Я вижу, вы заметили громоотводы.

Я говорил легко, полушутя, поэтому его ответ показался мне тем более удивительным. На миг я подумал, что ослышался и что он сказал «нет и доли правды».

– Да, мне никогда не приходилось видеть дом с таким их количеством. Что, ваш дядюшка особенно опасается гроз?

– Совсем напротив... Но прежде я должен сказать вам, что они были установлены восемьдесят лет тому назад моим двоюродным дедом Томасом.

– Не тот ли это Томас Роксфорд, – спросил я, в то же время задаваясь вопросом, не ослышался ли я снова, – который потерял сына, погибшего от падения с галереи... а сам впоследствии исчез?

– Именно тот; а галерея стала теперь рабочей комнатой моего дяди. Однако громоотводы – в те времена совершеннейшее новшество – были установлены по меньшей мере лет за десять до той трагедии. Да нет, минутой раньше ваш слух не обманул вас...

Я был так удивлен его кажущимся ясновидением, что это, очевидно, отразилось на моем лице.

– Дело в том, мистер Монтегю, что я опасаюсь, что мой дядя приступает к странному эксперименту, который может стать смертельно опасным не только для него самого, но и для других, если ничего не будет сделано, чтобы помешать этому. Вот почему я почувствовал, что мне необходимо ознакомить вас с ситуацией и – если вы согласитесь – испросить у вас совета.

Я уверил его, что буду счастлив сделать все, что в моих силах, и настойчиво просил его продолжать.

– Понимаете ли, – начал он, – я никогда не был близок с моим дядей; я навещаю его два-три раза в год, и время от времени мы обмениваемся письмами. Но со времени моей учебы в Эдинбурге мне удавалось разыскать для него кое-какие редкие книги, главным образом труды по алхимии и оккультным наукам. Он, должен вам сказать, страдает от непреодолимого страха смерти, и я порой думаю, что именно из-за этого он так замкнулся от внешнего мира. Этот страх привел его на путь странных изысканий и, в частности, к алхимическим поискам эликсира жизни: это снадобье должно, как предполагается, даровать бессмертие тому, кто откроет эту тайну.

Позапрошлой зимой он обронил намек – и не один раз – о редком алхимическом манускрипте, который он приобрел; работа не столь давняя, датирована концом семнадцатого века. Он не называл имени автора, не говорил, где он раздобыл этот манускрипт. Дядя мой, как вы, вероятно, успели догадаться, человек весьма подозрительный и скрытный, но было ясно: он полагает, что отыскал нечто

совершенно замечательное.

Прошлой осенью он сказал мне, что намеревается обновить кабели громоотводов, и попросил отыскать для него трактат сэра Уильяма Сноу о грозах. Я не был сильно удивлен: он уже несколько лет ворчал насчет опасности пожара, могущего возникнуть от удара молнии. Вас может удивить, почему он ничего не сделал, чтобы предохранить дом от более земных причин пожара, но его нелюбовь к денежным тратам так же велика, как страх смерти. Так что я отослал ему книгу и больше не вспоминал об этом, пока не приехал навестить его две недели тому назад.

Громоотводы, должен сказать, всегда соединялись с землей посредством тяжелого черного кабеля, прикрепленного к боковой стене. Однако теперь я заметил, что часть его, примерно в шесть футов длиной, была изъята на уровне галереи. Я поначалу подумал, что кабель заменяют по частям: опасное предприятие, ибо, если, в то время как этот кусок отсутствует, вдруг ударила бы молния, вся мощь взрыва пришлась бы на галерею. Но когда я подъехал поближе, я увидел, что на самом деле впечатление, что часть кабеля изъята, обманчиво: стена оказалась просверлена в двух местах, а кабель входил в одно из этих отверстий и появлялся вновь из другого, примерно шестью футами ниже.

В своем письме, приглашая меня приехать, дядя написал только, что хочет «сделать кое-какие распоряжения». Никакого представления о том, что это может означать, у меня не было, но, когда я стоял там, пристально рассматривая это странное расположение, должен признаться, возникло ощущение, что у меня по спинному хребту ползет что-то отвратительно холодное.

Меня, как обычно, впустил его дворецкий Дрейтон, человек меланхолический, лет шестидесяти от роду или более того. Он сообщил мне, что мой дядя занимается в библиотеке и просил передать, что его не следует беспокоить до обеда. Это не было чем-то исключительным; его приглашения никогда не распространяются более чем на два дня, и он видится со мной только тогда, когда ему что-то нужно. И в самом деле, если бы он не сделал меня своим наследником, я сомневаюсь, что стал бы поддерживать с ним связь.

Должен вам сказать, что мой дядя держит все тех же нескольких слуг с того времени, как я его знаю. У него есть Грымз – кучер, слуга в доме и к тому же

конюх; его жена – она готовит еду (еда спартанская до крайности), пожилая горничная и Дрейтон. Дядя изо дня в день надевает все тот же изношенный костюм; не могу себе представить, чтобы он когда-нибудь переодевался к обеду с того дня, как покинул Кембридж, а тому, должно быть, уже лет сорок пять. Большая часть дома, как вы могли заметить, закрыта: Грымз и его жена живут в коттедже лесника, а комнаты остальных слуг находятся на первом этаже в задней части дома.

Дядюшкины апартаменты состоят из длинной галереи, – тут Магнус снова указал на освещенные окна на моей картине, – библиотеки и кабинета, которые к ней примыкают. Галерея размером примерно сорок футов на пятнадцать, библиотека имеет ту же длину, но один ее угол, рядом с лестничной площадкой, занимает кабинет.

Если войти на галерею через главные двери, в дальнем конце помещения вы увидите огромный камин. Однако огня не зажигали в нем уже несколько веков: все пространство внутри камина занимает нечто, с первого взгляда похожее на дорожный сундук. Однако на самом деле это саркофаг, сделанный из меди, настолько изъеденный коррозией и потускневший от времени, что на нем остались лишь следы первоначального орнамента. Он был заказан сэром Генри Роксфордом в 1640 году как символ *memento mori*[16 - Помни о смерти (лат.)]; теперь в нем покоятся его останки.

В алькове между камином и стеной библиотеки стоят огромные рыцарские доспехи, странно почерневшие, словно от пожара. Можно подумать, что это работа какого-то средневекового мастера, но, когда подойдешь поближе, становится видно, что от пояса донизу фигура напоминает один из египетских гробов в форме человеческого тела. Она была сделана в Аугсбурге менее ста лет тому назад, примерно в то же время, когда появился знаменитый шахматный автомат фон Кемпелена; Томас Роксфорд привез его из Германии в качестве одного из элементов реставрации Холла.

Другой обстановки на галерее нет, если не считать пары стульев с прямыми спинками и длинного стола, который служит дяде рабочим столом, – как раз под тем окном, где на вашей картине виден свет. Портреты предков Роксфордов висят над столом; противоположная стена украшена обычным набором старинного оружия, охотничьими трофеями и выцветшими гобеленами, что лишь усиливает впечатление запустения. Холодное, мрачное место, пропахшее сыростью и обветшанием, порождающее эхо.

Соседствующая с галереей библиотека – типичное для сельского сквайра собрание книг, сплошь набитое такими произведениями, какие никто никогда и не подумал бы читать. Если он когда-нибудь и позволяет мне туда войти, на столе не бывает никаких книг, никаких бумаг: свои алхимические книги он держит в стенном шкафу под замком. Его кабинет служит также и спальней: в одном углу там стоит походная кровать; там же он и ест, насколько мне известно, кроме тех случаев, когда я его навещаю. За пределами этих «апартаментов» – только пыль и пустые коридоры; не думаю, что хоть чья-то нога ступала на верхние этажи с прошлого века.

Однако продолжу. Когда я приехал, было далеко за полдень, и у меня оставалось еще часа два до того, как в семь из библиотеки появится дядя: их надо было чем-то заполнить. Так что я снова вышел из дома, чтобы лучше разглядеть проводники громоотводов.

На этот раз я заметил, что окно галереи, расположенное ближе всего к главному кабелю – как раз над тем местом, где кабель исчезает в стене, – слегка приоткрыто: скорее всего, по вине работников, ибо оконные створки находятся слишком высоко, чтобы дядя мог до них дотянуться. И хотя я не мог бы сказать со всей определенностью, я все же был почти уверен, что доспехи стоят именно под этим окном. Мой мозг обуревали полусформировавшиеся подозрения, но я никак не мог найти им определение. Я обошел весь Холл, однако других изменений не обнаружил.

Я был так поглощен его рассказом, что осторожный стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Это Джосая пришел зажечь лампы и подбросить дров в огонь; только тут я увидел, что за окном уже совсем стемнело.

– Простите меня, – сказал Магнус, – я отнимаю у вас слишком много времени, а у вас, вероятно, есть другие дела.

Я заверил его, что других дел у меня нет. Магнус обладал (как я со временем понял) необычайной способностью приспособливать свою речь к манере выражаться и ритму речи своего собеседника, и притом столь тонко, что вы едва могли это заметить, так что я уже чувствовал – хотя едва час минул от начала нашей беседы, – что со мною рядом давний, заслуживающий доверия друг. По этой причине, выяснив, что он остановился в гостинице «Белый лев», я уговорил

его пообедать у меня дома – на что он, после обычных в таких случаях возражений, охотно согласился, – а пока подкрепить свои силы и продолжить повествование.

– Как правило, – сказал он, – еду у моего дяди подают в небольшой комнате для завтраков в задней части дома. Но на этот раз Дрейтон накрыл стол на два прибора в огромной и темной, словно пещера, столовой, затхлой, с темными панелями по стенам, ну просто мавзолеей, а не комната; она находится прямо под библиотекой. Огня в камине не было. Дядюшка появился в шарфе и толстых шерстяных перчатках; я был бы рад надеть теплое пальто. Мы обедали при свете нескольких свечей за столом, рассчитанным человек на сорок; Дрейтон обретался в темноте где-то за моей спиной. Взгляд дяди то ловил мой взгляд, то быстро ускользал в сторону; мне уже с десятков раз казалось, что он вот-вот заговорит, когда наконец он откашлялся, жестом руки отправил Дрейтона прочь из комнаты и достал из сюртука пачку бумаг.

«Ты знаешь, – сказал мне дядя, постучав пальцем по бумагам, – что я назначил тебя моим наследником. А теперь я хочу потребовать услуги от тебя. Ежели я умру нормальной смертью (мне захотелось спросить, какой иной способ умереть он имеет в виду, но я удержался), то у меня имеется ряд распоряжений касательно поместья, которые ты должен принять во внимание». И он стал перечислять предметы, которые ни в коем случае не следовало продавать или увозить из дома, начиная от стола, за которым мы сидели. Он перечислил предметы обстановки столовой и гостиной, отсчитывая их на пальцах, но как-то машинально, небрежно, будто мысли его были заняты другим.

Однако, когда он подошел к тому, что он называет своими «апартаментами», имея в виду галерею, библиотеку и кабинет на втором этаже, его манера совершенно изменилась. Доспехи должны оставаться в том виде, как будут обнаружены, все время, пока Холл остается во владении семьи. Это было сказано с невероятной настойчивостью и тоном, не допускавшим никаких возражений; он предупредил меня, что собирается указать это в завещании как условие наследования. Впрочем, я не знаю и, вероятно, не имею права спросить...

– Мы ничего не слышали от вашего дяди уже много лет, – сказал я. – Конечно, он мог проконсультироваться с кем-то другим...

– Нет, я уверен, он обратился бы к вам. Он сделал такие же оговорки по поводу библиотеки, но уже без того огня, что минутой раньше, и, перечислив содержимое еще нескольких комнат, сказал, что напишет все это как дополнительное распоряжение к своему завещанию.

И тут снова мой дядя смолк и принялся постукивать пальцами в перчатках по столу.

«Если я вдруг исчезну, – сказал он резко, – то есть в случае, если покажется, что я исчез... Если Дрейтон, например, сообщит тебе, что меня не могут найти, тогда никто не должен входить в мои апартаменты. Никто – ты понял? Не должно быть устроено никаких поисков. Никакие власти не должны быть уведомлены. Ничего не следует делать, пока не минуют три дня и три ночи, а после этого, если от меня не будет получено никаких сообщений, ты можешь войти в мою рабочую комнату и... сделать то, что будет необходимо. Но ничто не должно быть сдвинуто с места или убрано. Я еще раз повторяю – ничто, иначе ты лишишься наследства. Принимаешь ли ты эти условия? Отвечай – да или нет?»

Он взял со стола документ – явно завещание – и схватился за него обеими руками, словно готовясь разорвать на куски, если мой ответ его не удовлетворит.

«Что ж, да, – ответил я. – Но в данном случае вам больше пригодился бы мистер Монтегю».

Тут он прямо-таки прорычал в ответ – вам придется меня извинить:

«Не доверяю я юристам, и, помимо того, ты потеряешь больше, чем он. Ты даешь мне слово чести? Очень хорошо. А теперь я должен продолжить свою работу. Дрейтон о тебе позаботится и подаст тебе утром завтрак. А потом, я уверен, тебе захочется отправиться в путь как можно раньше».

Он встал, убрал свои бумаги и покинул комнату, даже не оглянувшись.

– Извините меня, – я не смог удержаться от вопроса, – неужели ваш дядя всегда так... резок?

– Точнее, оскорбителен, но вы слишком вежливы, чтобы так выразиться. Пожалуй, нет. Даже по его собственным меркам на этот раз он был исключительно груб, но, по правде говоря, я едва это заметил. Некоторое время я оставался за столом, размышляя над его странным требованием, а свечи догорали, и в столовой становилось все холоднее. Неужели мой дядя перешел грань от эксцентричности к откровенному безумию? Такой очевидный вывод напрашивался сам собой, и все же у меня не было чувства, что передо мной безумец. Или же он задумывался над исчезновением своего предшественника, пока... Но пока – что? Ответ, если он вообще есть, должен, по всей видимости, находиться на галерее; но как мне получить туда доступ? Когда дядя собирается отойти ко сну, он запирает на замки и засовы все двери, выходящие на лестничную площадку. Я уже отказался от этой мысли как от безнадежной и собрался было и сам отойти ко сну, как вдруг подумал о кабеле.

Луна была в своей второй четверти; если небо останется ясным, будет достаточно светло, чтобы видеть все вокруг. Я сказал Дрейтону, что мне надо подышать свежим воздухом и что ждать меня не нужно: я сам все запру, когда вернусь. В тени старого каретного сарая я ждал, наблюдая за дядиным окном, а часы все тянулись. Полночь пришла и прошла; была уже половина второго, когда свет в окне дядино кабинета наконец погас. Я подождал еще полчаса, на всякий случай, вернулся к боковой стене дома и приготовился на нее карабкаться.

Хотя ночь была абсолютно тихая, лишь изредка небольшие облака проплывали перед лунным ликом, я не раз бросал опасливый взгляд на небеса, когда натягивал на руки перчатки и начинал подъем. Стена была достаточно неровной, чтобы обеспечить мне некоторую опору для ног, но, несмотря на холод, я взмок от пота, прежде чем добрался до узкого парапета, что проходит примерно на уровне пола галереи. Чуть выше этого карниза кабель уходил в стену. Подоконник был примерно в семи футах выше парапета; чтобы дотянуться до следующего участка кабеля, мне нужно было вытянуться во весь рост, балансируя на карнизе, схватиться за кабель левой рукой и перемахнуть к окну так, чтобы правой раскрыть приоткрытую створку.

Скорчившись на парапете, я не осмеливался взглянуть вниз. На память мне пришли строки о человеке, собирающем сапфиры на ужасной отвесной скале: они меня совершенно парализовали. Последнюю часть подъема я проделал одним отчаянным рывком и, задыхаясь, улегся поперек подоконника. Лунный свет сиял, освещая темную глыбу доспехов: они оказались почти прямо подо

мною. Дверь в библиотеку, к моему облегчению, была закрыта, и из-под нее не видно было света. Я опустился на пол рядом с фигурой в шлеме и подождал, пока мое дыхание не замедлилось до обычного ритма.

Должен сказать, что дядя мой всегда очень неохотно допускал меня на галерею. Он не мог отказать мне в праве посмотреть на портреты моих предков, но никогда не оставлял меня с ними наедине, поэтому доспехи мне пришлось видеть лишь издали. Фигура установлена на металлическом постаменте, ее закованная в броню правая рука – на головке рукояти обнаженного меча, упертого, кстати говоря, острием в землю. Но мой взгляд искал только два участка кабеля, выходящего из стены: один оказался присоединенным к задней стороне шлема, другой – к постаменту, так что, если бы молния ударила в Холл, вся сила электрического тока прошла бы прямым путем через доспехи.

Мне нужно было больше света, поэтому я решил рискнуть и зажечь принесенную с собой свечу. В ее трепещущем свете фигура в доспехах выглядела устрашающе настороженной и бдительной. Меч под бронированной правой рукой так и сверкал, и я заметил, что его кончик уходит в прорезь в постаменте. Подчиняясь порыву, я взялся за рукоять.

Меч в моей руке двинулся, будто рычаг, потянув за собою и железную руку. Я медленно тянул рукоять к себе, а по фигуре в доспехах прошла дрожь. Я в ужасе отстранился, но рукавом зацепился за рукоять, и меч продвинулся до конца своего пути. Казалось, в доспехах вдруг вспыхнула жизнь: почерневшие пластины брони резко распахнулись, словно какое-то чудовище стремилось силой вырваться наружу.

Однако внутри оказалась лишь пустота. Поднеся свет поближе, я разглядел, что пластины с обеих сторон держались на петлях, так что вся передняя часть доспехов – за исключением рук – открывалась наружу. Когда я вернул меч назад, в вертикальное положение, пластины снова закрылись, почти беззвучно. Места соединений были практически незаметны: все это, вероятно, потребовало от искусного мастера долгих месяцев усердной работы.

Я раскрыл тайну моего дяди, но что все это означало? Что, как он полагал, произойдет, когда молния, рано или поздно, ударит в Холл? Неужели он предполагал обманом или подкупом заставить какого-то ничего не подозревающего человека поместиться в доспехи – то есть в гроб – во время грозы, чтобы сам он мог увидеть результат? «Если покажется, что я исчез, –

сказал он мне, – никто не должен входить в мои апартаменты, пока не минуют три дня и три ночи». Для чего? Чтобы дать ему время сбежать, если его жертва умрет?

Или он ожидает, что что-то появится оттуда? Признаюсь, при этой мысли волосы у меня на шее под затылком встали дыбом – еще и от выводов, к которым вела эта мысль в отношении психического состояния дяди. Однако теперь я решился во что бы то ни стало выяснить его цель и начал осматривать все вокруг, ища ключ к загадке. Я поначалу думал, что не найду ничего интересного на длинном столе, но в тени, на его дальнем конце, я обнаружил тонкий фолиант, переплетенный в пергамен.

Это была не печатная книга, а рукопись, написанная неразборчивым почерком, да еще готическим шрифтом. На титульном листе значилось лишь: «Тритемиус. О мощи молнии, 1697». Некоторые места книги были заложены полосками бумаги: это, разумеется, был тот самый таинственный алхимический труд, который некоторое время назад так взволновал моего дядю. Настоящий Тритемиус, как вы, верно, знаете, был в конце пятнадцатого века настоятелем Спонгеймского монастыря (мне пришлось разыскать сведения о нем в Британском музее): его сочли колдуном и обвинили в «диавольских кознях»; утверждали, что он изобрел «негаснущий огонь». Однако наш Тритемиус, автор этой рукописи, не числится в каталоге, а это заставляет предположить, что мой дядя – обладатель единственного или одного из очень немногих экземпляров этого труда.

Я попытался читать с самого начала, однако, хотя работа написана по-английски, она оказалась почти непостижимой, так что я решил обратиться к одной из отмеченных дядей страниц. Иллюстрация, которую я там обнаружил, снова вызвала у меня мороз по коже. Она состояла из четырех стилизованных панелей. На первой изображены доспехи – нельзя было определить, есть в них кто-нибудь или нет, – с длинным стержнем или прутом, вертикально торчащим из шлема. На второй – иззубренный зигзаг молнии поражает кончик этого прута; на третьей – доспехи окружены сияющим ореолом света. На последней вы видите – хотя талант художника оказался не равен задаче, – как светящаяся фигура начинает отделяться от доспехов; или, возможно, она сливается с ними – я не мог разобрать.

Я вернулся к первому из отмеченных абзацев, подумав, что лучше мне все же читать по порядку, и тотчас же понял, что должен это записать. Вот точная

копия того, что я нашел, – проговорил он, протягивая мне лист писчей бумаги.

Как Магнитный Железняк отыскивает Север, так я отыскал путем Испытаний, что Удар Молнии может быть привлечен Прутом из Железа, водруженным на Вершине Холма. И потому на Вопрос, заданный Господом Иову, я осмеливаюсь ответить Утвердительно.

Можешь ли ты велеть Молниям, чтобы пошли и сказали тебе: Вот Мы здесь?

Ибо сказано в Книге Страшного суда:

И взял Ангел Кадильницу, и наполнил ее Огнем Алтаря, и бросил ее на Землю, и были Голоса, и Громы, и Молнии, и т. д.

Так, Человек, каковой мог бы управлять Мощью Молнии, стал бы подобен Ангелу-Мстителю в тот Страшный День – подобен Тьме столь же, сколь и Свету, ибо в этом мы должны Считаться Гностиками – и обрести Власть над Душами Живых и Мертвых: Право Вязать и Развязывать, Возвышать и Сбрасывать Вниз, и если кто станет истинным Адептом, пусть Совершит тот Обряд, о котором я написал в Другом Месте. Ибо как юное Древо может быть привито к Старому, так...

– К сожалению, больше ничего нет, – сказал Магнус, когда я выжидающе поднял на него взгляд. – Я как раз собирался перевернуть страницу, когда услышал шум со стороны библиотеки: звук поворачивающегося в скважине ключа. Я задул свечу, закрыл книгу и быстро – насколько осмелился – двинулся к главному входу. Но звук шагов из библиотеки уже приближался к двери, а я знал, что двери на лестничную площадку нельзя открыть быстро, не наделав много шума. Не оставалось и времени взобраться на подоконник и исчезнуть, закрыв за собою окно. Можно было бы спрятаться под длинным столом, но мысль о том, что меня могут обнаружить и придется с позором выползть оттуда, чтобы лицом к лицу встретиться с дядюшкой... Нет, существовало одно-единственное место, где можно спрятаться. Я схватился за рукоять меча, потянул его на себя и шагнул внутрь доспехов, просунув свою правую руку в правую руку рыцарской брони. Доспехи сомкнулись вокруг меня, и я погрузился в абсолютную темноту.

Воздуха внутри было мало даже поначалу, а вскоре стало удушающе жарко. Когда мои глаза приспособились к темноте, до моего сознания дошло, что стало заметно слабое мерцание, и я обнаружил, что, встав на цыпочки, могу разглядеть в смотровые прорези забрала отблеск дядиной свечи – во всяком случае я предположил, что это был мой дядя, – перемещающейся по галерее. Один раз отблеск остановился прямо передо мною (даже стоя на цыпочках, я мог видеть только то, что вверху), и я ждал, как мне показалось, долгие минуты, что вот-вот пластины брони распахнутся. Наконец свет отделился, а затем и вовсе исчез: послышалось приглушенное клацанье замков и засовов. Но я не осмелился сразу же двинуться с места. По мере того как восстанавливалась тишина, мною овладевал ползучий, смертельный страх, спиралью вьющийся вокруг слов, которые я только что списал: «Ибо как юное Древо может быть привито к Старому...»

Я представил, как черные тучи клубятся над Роксфорд-Холлом...

Но довольно. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы объяснить, почему, выбравшись из своего удушающего заточения, я думал только о том, как унести ноги. Достаточно сказать, что спуск оказался еще затруднительнее, чем подъем, и что я очутился на земле сильно поцарапанный и в крови. Мой дядя, к вящему моему облегчению, не явился на следующее утро искать со мной встречи. Я подумал было, не довериться ли Дрейтону, но усомнился в его способности что-либо скрыть от хозяина и ограничился тем, что сказал ему, как обеспокоен здоровьем дяди. Дрейтон пообещал послать мне в Лондон телеграмму, если произойдет что-либо неблагоприятное.

Это и подводит меня наконец к причине моего визита к вам. Как вам, возможно, известно, меня особенно интересует сердечная болезнь, и меня часто отзывают из города, когда необходимо еще одно мнение. Поэтому бывает, что меня трудно найти тотчас же, а в таком случае Дрейтон, несомненно, обратится прямо к вам. Помимо того, чтобы ознакомить вас с ситуацией, мне хотелось бы узнать – хотя, вероятно, как представитель моего дяди, вы сочтете неподобающим дать совет мне, – не можете ли вы предложить какие-либо законные способы, могущие помочь нам предотвратить несчастье, а не просто ждать – известная фраза абсолютно подходит к нашему случаю, – пока не разразится гроза?

Огонь в камине почти догорел, я смутно помнил, что слышал, как некоторое время тому назад ушел из конторы Джосая.

– Я совершенно не считаю неподобающим, – сказал я, снова наполняя бокалы, – дать вам совет, поскольку обстоятельства совершенно исключительные. Но единственная линия поведения, которая здесь напрашивается, весьма радикальна: поместить вашего дядю в дом для умалишенных; и, разумеется, в отношении вас риск здесь очень велик, так как, если эта попытка не увенчается успехом, он может отомстить вам, лишив вас наследства. Как вы полагаете, смогут ли двое ваших коллег – как вероятный наследник, сами вы не имеете права принимать в этом участие – вынести соответствующее заключение и подписать свидетельство?

– Я вовсе не уверен, что смогут, – ответил Магнус. – Мы не можем доказать, что он собирается использовать доспехи с какой-либо зловещей целью; он способен вполне правдоподобно объяснить, что ведет научное исследование возможных воздействий молнии. Теперь по поводу его требования, чтобы никто не входил в его владения в течение трех дней после того, как он (предположительно) перестанет открывать дверь: что же, если он действительно сделает это письменным условием, я и правда должен буду либо подчиниться ему, либо потерять поместье?

– Если бы он принес такое предварительное условие ко мне, – ответил я, подумав над этим некоторое время, – я отказался бы вписать его в завещание, потому что оно противоречиво. Завещание не имеет силы, пока не сочтено действительным; оно не может быть сочтено действительным, если не доказано, что завещатель умер; вы не можете знать, умер он или нет, пока не войдете на галерею, а он желает запретить вам сделать это; но, если вы полагаете, что он болен или умирает, ваш моральный долг – что несомненно признает закон – прийти к нему на помощь. Однако здесь вы стоите перед риском, что, нарушив запрет и войдя к нему, обнаружите, что он не умер. Тогда он, конечно, вполне может выполнить свою угрозу и лишить вас наследства. На самом деле... если бы, предположим, Дрейтон явился ко мне и сказал, что беспокоится о вашем дядюшке, было бы лучше, если бы это я вошел к нему без разрешения. Самое худшее, что могло бы произойти, – он отказался бы от моих услуг (если предположить, что он был бы еще жив); ну а если бы он был мертв, это помогло бы избежать осложнений...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/dzhon-harvud/tayna-zamka-roksford-holl-2/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Доктор Джонсон – Сэмюел Джонсон (1709–1784), английский поэт, писатель, лексикограф, создатель Толкового словаря английского языка (1755). – Здесь и далее примеч. перев.

2

Асфодель – нарцисс. Название рода растений из семейства асфоделиевых. В древнегреческой мифологии Асфодельные луга располагались в Аиде: по ним блуждали тени умерших; асфодель был символом забвения.

3

Злодеяния в Уайтчепеле – зверские убийства женщин (главным образом женщин легкого поведения) преступником, получившим прозвище Джек-потрошитель. Убийца так и не был найден. Печально знаменитое «Дело Джека-потрошителя» в то время заполняло страницы популярных газет.

4

Сомерсет-Хаус (в Лондоне) – Служба регистрации актов гражданского состояния.

5

Имеется в виду гражданская война периода Английской революции 1649 г., когда был свергнут и обезглавлен король Карл I Стюарт.

6

«Убежище священника» – тайник в доме, где во времена преследования католиков прятали католических священников.

7

Джозеф Мэллорд Уильям Тернер (1775–1851) – английский художник-пейзажист, совершивший революцию в английской живописи в передаче света и цвета.

Считается предшественником импрессионистов.

8

Джон Китс (1795–1821) – один из крупнейших поэтов английского романтизма.

9

Имеется в виду сонет Китса «Впервые читая чапменовский перевод Гомера». Однако в сонете не Кортес взирает на океан «в догадках дерзких», а его матросы так глядят на Кортеса, взирающего на океан. Джордж Чапмен (ок. 1559–1634) – английский поэт, драматург и переводчик; его переводы Гомера вошли и историю англоязычной поэзии.

10

Майлз Биркет Фостер (1825–1899) – английский художник, мастер акварельных пейзажей.

11

Строка из стихотворения знаменитого английского поэта Алфреда Теннисона (1809–1892) «Бейся, бейся, море».

12

«Местечко» (1810) – поэма в 24 «письмах» известного английского поэта Джорджа Крабба (1754–1832), подробно описывающая жизнь в г. Олдебурге.

13

Строка из второй строфы стихотворения Джорджа Гордона Байрона (1788–1824) «Больше нам не плыть на лодке...».

14

Месмеризм – система в медицине, предложенная австрийским врачом Францем Антоном Месмером (1734–1815). В основе месмеризма – понятие о «животном магнетизме», посредством которого якобы можно изменять состояние организма, в том числе излечивать болезни.

15

Джон Раскин (тж. Рескин; 1819–1900) – поэт, писатель, художник, теоретик искусства; друг Уильяма Тернера.

16

Помни о смерти (лат.).

Купити: <https://tellnovel.com/dzhon-harvud/tayna-zamka-roksford-holl-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)